Créme de la Créme

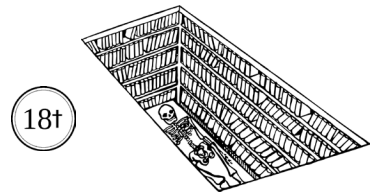
Марсель Жуандо

ЛЮБИТЕЛЬ НЕОСТОРОЖНОСТИ

перевод Татьяны Источниковой

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр



Marcel Jouhandeau
L'Amateur d'imprudences

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Алексей Кропин
Верстка: Дарья Громова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использована
гравюра Саши Шнайдера «Маммона и ее раб» (1896).

© Les Éditions Gallimard, 1932
© Kolonna Publications, 2017
© Татьяна Источникова, перевод, 2017

ISBN 978-5-98144-235-3

Часть первая

КАРДИНАЛ

I

Никто в точности не знал о происхождении, друзьях, горестях и радостях Бриса Обюссона. Ходило множество слухов о его авантюрах – пылких, кровавых, благородных, невероятных; о его добродетелях и преступлениях, о божественных фантазиях и угрызениях совести. Некоторые называли его святым, другие – проклятым. Хотя его редко видели в церкви, некоторые утверждали, что в возрасте тридцати лет его чела коснулось священное миропомазание. Он жил в этих краях чуть больше двух лет, порой надолго отлучаясь, но из-за его скрытного образа жизни это оставалось почти незамеченным. Его дом, очень старый и мрачный, с широкими окнами, закрытыми внутренними ставнями, не таил ли внутри королевскую роскошь и королевские же пороки, как и сам Брис, прозванный Тарквинием? Его единственными слугами были двое юных немых и пожилая экономка – возможно, его бывшая кормилица. Все трое были преданы ему сильнее, чем тридцать мучеников-исповедников – своему Богу. Некоторые считали его скупым, другие – бедным. Многие, из-за его неизменного благородства манер, счита-

ли его потомком высшей знати; подобную мысль внушала и Схоластика, когда говорила о своем господине, тогда как двое немых согласно кивали.

В молодые годы Брис Обюссон всячески избегал «легкости». Стоило ему где-то преуспеть, добиться «признания», создать вокруг себя новый, чарующий мир, как он тут же разрушал его, чтобы вновь испытать свою силу и стать центром притяжения в каком-то другом мире, – возможно, более опасном для него.

Однако в том случае, если эта тонкая игра оказывалась раскрыта, он больше не пытался ничего сделать, капитулировал и уходил в тень; некоторые полагали, что он так поступал, будучи пойманным в свою же ловушку.

Утверждали, что душа Бриса, из-за его маниакальной склонности ко всему непредвиденному, отягощена столькими тайнами, что если бы авантюры были единственной, вечной и неотчуждаемой ценностью этого мира, то во всей Вселенной не было бы человека богаче него. Его самые необычные воспоминания – о королях, о звездах, о поэзии – сопровождали его повсюду, окутывая его, подобно мантии, создавая вокруг него свиту, невидимую, но ощутимую; на фоне его одиночества его поступки ярче демонстрировали свою сверхчеловеческую ценность. Его любили не столько за то, что он говорил, сколько за то, чем он был, за то, чего он никогда не утрачивал, всякий раз теряя вместо этого какую-то часть самого себя. Его высшая беспечность, возможно, заключалась бы именно в том, чтобы отказаться от себя вовсе; именно это и вызывало у других восхищение.

Брис был слишком высок для своего лица, которое казалось маленьким, не будучи таковым, как на портретах Шампаня; но даже то, что голова как бы уступала телу, придавало большее величие всему силуэту. Руки были длинными, кисти – тонкими, однако не создавали впечатления хрупких – напротив, в них чувствовалась сила. Когда он сжимал кулаки, они выглядели массивными, когда выпрямлял пальцы – они становились похожи на крылья птицы-секретаря. Они всегда находились на максимально возможном расстоянии от него справа и слева, словно изучая окружающий мир и указывая ему на наиболее интересные детали; каждую минуту они создавали вокруг него маленькие вихри, трепеща от любопытства, – например, в те моменты, когда ему случалось смотреть кому-то в глаза, но при этом не хотелось оказаться в плену меж створками чужих век. Иногда, напротив, он подносил пальцы к собственным глазам – и они, становясь похожими на миниатюрные слоновьи бивни, заслоняли его лицо полупрозрачной вуалью, будто освещенной изнутри собственным светом, делая его черты все более размытыми, искаженными, тонкими, просвечивающими, а сами будто ветвясь нескончаемыми побегами плоти, все более заслоняющими его реальный образ от посторонних наблюдателей.

II

У него была подруга. Окруженная скандальным ореолом, который придавал ей роман со знаменитостью, Пиа никогда бы не удовлетворилась тем, чтобы стать просто героиней книги. Сохраняя видимость забот о домашнем очаге и единственном сыне, она вложила всю свою роскошь и блеск в связь с Брисом Обюссоном. Она навещала его почти каждый день, чтобы отдохнуть рядом с ним. Ей казалось, что он нездоров, хотя его природная крепость не давала усилиться лихорадке, но тем самым и мешала уточнить природу недомогания, на которое он умышленно жаловался. Она предполагала, что он ее «любит», но сама предпочитала считать себя подругой этого ненадежного любовника, никогда не говорившего с ней о любви, и не надеяться на большее, чем быть по-настоящему любимой кем-то другим.

– Есть люди, чей главный талант – не блистать никакими талантами, – порой говорил он, – и вот они-то находят и своих летописцев, и свою славу.

Я очень хорошо понимаю одного человека, который обладал страстью к воровству. Каждый вечер он одевался, как взломщик, чтобы заставить самого себя поверить, что так оно и есть, – но никогда никого не грабил. Он находил удовольствие именно в том, чтобы не воровать. Спрашивается, каким бы еще образом он мог быть счастлив, если от рождения не обладал душой вора? – Из этого Брис заключал, что в основе любого нашего желания лежат как добродетели, так и пороки, которые направляют его в то или иное русло; что ничто не сравнится с величием страсти, не направленной на конкретный объект, так же как ничто не сравнится с убожеством предмета страсти.

– Однако я сам, – в завершение говорил он, – стремлюсь лишь к неосторожности, которая меня погубит. У меня нет ничего общего с теми, кто каждый вечер, всю свою жизнь, притворяются, что любят, но на самом деле никогда никого не любили. Покой – лишь на дне пропасти. Кто отважится освободиться от всего до такой степени, чтобы коснуться его?

Однажды утром, за миг до пробуждения, я увидел и навсегда запомнил самого себя в обстановке, очевидно, наиболее близкой к преисподней. Я был обнажен, как и тысячи других людей вокруг меня, и все мы были прикованы к стене одной и той же цепью, которая вдобавок обматывала наши руки и шеи, так, что мы не могли повернуть головы и увидеть друг друга, – но каждый чувствовал всеобщее отчаяние. Свет падал откуда-то сверху, из центра высокого сводчатого потолка, почти неразличимого, но достигал лишь уровня наших плеч – всё остальное тонуло в полумраке, которого было достаточно лишь для того, чтобы смутно

различить очертания чужих тел и осознать, хотя бы отчасти, глубину их и собственного падения. И вдруг я увидел невероятное, сияющее лицо, будто бы сотканное из всего того света, что не дошел до нас, – и в следующий миг оно оказалось между ужасной стеной и мной.

Пиа отметила только то, что одержимость Бриса этим представшим ему в видении лицом заглушила в нем всякую охоту к использованию своей власти над людьми и вообще стремление к чему бы то ни было: оно словно ввергло в опалу всё остальное, что есть на свете, и даже сама Пиа потускнела на фоне этого божественного миража. Какое-то непонятное отвращение порой сдавливало ему горло и вызывало слезы на глазах – в такие минуты ему становились безразличны ее ласки и аромат ее дыхания, как становилась безвкусной сочная мякоть свежих фруктов и блекла яркость цветов, в которых он переставал замечать что-то, кроме невзрачных стеблей; словно непроницаемая пелена скрывала от его глаз ту малую толику света, в которой нуждаемся мы все, чтобы не желать смерти. Только этот отсутствующий Лик способен был пробиться сквозь нее, как воспоминание о солнечном летнем дне, пробуждающееся в памяти среди зимней ночи. Направляя его лучи на окружающие предметы, Брис обретал их вновь.

Всё, что отныне представало перед ним, было не более явным, чем то, что отсутствовало, – так что Брис Обюссон теперь пребывал как бы на сверхъестественном уровне бытия: ничего по-настоящему реального для него больше не существовало, ничто прочное, основательное не пре-

пятствовало ему. Он проходил сквозь предметы, и его стопы больше не попирали земную твердь. Он все время оставался на некотором расстоянии над землей, словно непрерывно танцевал, поддерживаемый невидимыми ангелами, не нуждаясь ни в какой прочной опоре; но по взглядам прохожих он догадывался, что они, даже незнакомцы, замечают эту странную легкость его походки и значимость его жестов, которым новый ритм движения его души придавал некую хрупкую торжественность, новое, сверхчеловеческое измерение – до такой степени, что он поражался бы самому себе, если бы не был создан для подобного счастья.

Если Пиа иногда проявляла беспокойство по этому поводу, он говорил ей: «Вы же знаете, Пиа, что я никогда ничего не боялся; именно это заставляет других держаться от меня на расстоянии. Если каждый из них боится в первую очередь собственных желаний, то я не таков, как, например, наш друг Н., который способен получать удовольствие только в темных, потайных местах, но сначала отправляет туда посыльного с фонарем, чтобы тот разведал для него обстановку. Я – тот самый посыльный, и чаще всего я устраиваю такие праздники, в которых никто не отваживается принять участие, кроме Бога и меня».

Бриса можно было бы назвать целомудренным – в том смысле, что в его душе уже не оставалось свободного места, чтобы принять и разделить чье-то удовольствие, – даже того единственного существа, которое его интересовало, но считало его настолько опасным, что могло бы умереть от ужаса при одном его приближении.

Иногда Пиа думала, что Брис изображает безответно влюбленного в кого-то другого, чтобы избавиться от нее, при этом ее не оскорбив; но гораздо больше она была бы оскорблена тем, что ему требуются такого рода уловки, если бы любила его меньше.

Порой она надеялась, что он все же по-настоящему любит ее, но разыгрывает небрежность то ли из природной сдержанности, то ли из кокетства. Возможно, в нем существовали двое мужчин одновременно: один любил ее, но был недосягаем, второй не знал и не хотел знать, что любит ее, не хотел, чтобы другие это знали, скрывал свою любовь от нее и от своего двойника. Или, может быть, он любил какую-то другую женщину? или существо, которое видел только во сне? Однажды она обнаружила его впавшим в забытье. Удивленная тем, что вокруг не было никого и не замечалось даже следа присутствия какой-то другой женщины, кроме нее самой, Пиа всё больше убеждалась, что ее друг стал жертвой собственного воображения, слишком сильно разыгравшегося в уединении. Однако столь наглядное подтверждение его недавних признаний свидетельствовало о том, что они не выдуманы. Искренность его переживаний заставляла принять их всерьез. Пиа никак не могла поверить в кошмар столь последовательный, неизменный и продолжительный. Нет, Брис Обюссон был слишком рассудителен, чтобы так привязаться к фантому. Но где в этой жизни, столь герметично закрытой для всех, кроме нее, единственной, у которой был ключ, могло скрываться реальное существо, чьего присутствия она бы не чувствовала или хотя бы о нем не догадывалась – по едва уловимому веянию духов, едва

заметному беспорядку, который всегда оставляет после себя любой гость, или по неумышленному, случайному звуку чужого имени в устах, раскрывавшихся только ради нее? Может быть, речь шла о Воспоминании?

III

Когда Пиа и Брис отправлялись куда-то вместе, он обычно говорил, нарочито высокопарно, словно декламировал:

– Сожмите в пальцах хрупкие поводья вашей колесницы, а ваш отчаявшийся спутник свои поводья зубами стиснет, словно в лихорадке. Поедем вместе сквозь опасные чащобы. С собой везем мы драгоценности такие, что утратить никто не согласится добровольно.

Однажды вечером Брис попросил свою подругу его сопровождать:

– Если хотите, поедем на вечеринку к Розфельдам. Надеюсь, никто не узнает ни меня, ни вас. Там будет сто пятьдесят приглашенных.

– А «она» там будет? – спросила Пиа.

И взглянула Брису в глаза. Нежность, промелькнувшая во взгляде ее друга, растрогала ее. Она смирилась.

– Вы мне «ее» покажете?

Выглядевшие необычно среди танцующих, с которыми им так и не удалось смешаться, Брис и Пиа оказались, словно в роковом кругу, в центре всеобщего внимания – как если бы они были актерами, чьи маски не скрывают, а выдают в них главных действующих лиц праздника.

Пиа обладала красотой, поражающей с первого взгляда. При всей своей хрупкости ее фигура была отнюдь не лишена величия, а лицо, чудо совершенства, удивляло не столько правильностью и гармоничностью черт, сколько некой вселенской безмятежностью – даже в минуты душевного волнения оно было словно освещено изнутри, отражая мягкость и силу, в равной степени свойственные ее спокойной натуре. Взгляд Бриса, освещающий, словно маяк в ночи, ее темный силуэт, словно бы создавал его одним своим присутствием; благодаря прирожденному изяществу, которым он был обязан своему гению-покровителю, и своему благородству без всякого позерства он придавал ей дополнительную элегантность и даже само ее кокетство преображал в изысканную простоту. (Если бы он упорствовал в своем стремлении быть самым простым из людей – кто знает, удалось ли бы ему казаться таковым?)

Хотя Брис долгие годы почти не появлялся в свете, в нем не чувствовалось ни малейшей скованности – лишь едва заметное беспокойство, вызванное скорее не присутствием, но, напротив, отсутствием человека, которого он ждал.

Пиа слегка подтолкнула его:

– Ваш «объект» здесь?

– Вы его обязательно увидите.

– А как я его узнаю?

Мускулы Бриса напряглись, зубы сжались, взгляд, казалось, полностью погрузился в тайны души. Он вплотную прислонился к стене, словно хотел спрятаться в ней из страха, что кто-то заметит его внезапное смятение.

Но вот черты его лица внезапно разгладились, взгляд обрел всегдашнюю небрежность, с плеч словно сняли невидимые путы. Его жесты вновь

стали плавными, непринужденными и почти непрерывными. Он заговорил, он выпил вина, ненадолго присоединился к танцующим.

– «Она» появилась? – шепотом спросила Пиа.

Брис, казалось, ее не услышал, а затем начал будто наугад указывать на тех или иных приглашенных, справа, слева или впереди них, сопровождая жесты комментариями, которые ни в одном случае не соответствовали действительности или тому образу, который Пиа уже создала в своем воображении, не говоря уже о том, что иногда это были особы, которые никак не годились на роль таинственной возлюбленной – например, прелат или старая дама. Лишь дважды он показал ей нечто реальное: в первом случае – рыжеволосую женщину, которая могла бы быть комической актрисой, и сразу вслед за этим – стоявшую рядом с ней брюнетку, которая могла бы быть актрисой трагической. Но поскольку их было сразу две, речь скорее всего шла не о них, а о ком-то другом.

Чуть позже лицо Бриса вновь исказилось, он сжал кулаки в тени скатерти и замолчал. Все его движения вновь сделались замедленными.

Пиа наблюдала за ним, а остальные гости, сами того не замечая, мало-помалу собирались вокруг них, чтобы, в свою очередь, следить за ними, воспользовавшись тем состоянием абсолютной отрешенности, в которое оба были погружены.

Именно в этот момент несколько иностранных дипломатов, которые прежде встречали Обюссона в Италии, узнали его по кистям рук и манере держать их как можно дальше от лица.

В небольшом испанском городке, где Брис в свое время также исполнял обязанности дипломата, отчего был вынужден маскироваться, прини-

мая участие в развлечениях карнавала Ми-Карем, чтобы избежать скандала, – его называли не иначе как «человек с янтарными руками».

Если верно предположение о том, что наша индивидуальность проявляется в том числе и в сочетании наших жестов и взглядов, в тонком механизме их обоюдного влияния, и что можно определить интеллектуальный уровень человека по тому расстоянию, которое он обычно сохраняет между своими глазами и запястьями, и по степени утонченности и деликатности, которая поддерживается в их непрерывном взаимодействии, – Бриса и впрямь легко было отличить по тонким линиям неизменного узора его жестов, хотя и невидимым, но ощутимым в окружающем его пространстве, слишком своеобразным, чтобы спутать его с кем-то другим.

Брис навсегда запомнил, как однажды во время путешествия в поезде он вечером по ошибке открыл дверь в чужое купе. Там сидела женщина, читавшая книгу. Когда она подняла глаза от страницы, то первым делом увидела его руки и, еще не успев разглядеть его лица, воскликнула:

– Брис! Какими судьбами?

При похожих обстоятельствах преподобный Аасон, присутствовавший вместе с ним в одной лондонской церкви на защите докторской диссертации теолога из Рима, также не сразу узнал его, но вспомнил, едва обратив внимание на руки.

Другие пытались узнать, кто такая Пиа, очарованные ее лицом. Ее имя назвал архитектор Сигурд Лабр, которому удалось пару раз побывать в закрытых для широкой публики салонах семьи Фарамонд.

Впрочем, ее это не беспокоило. Она расспрашивала Бриса:

– «Она» ушла? Брис, вы доставили этой женщине большое удовольствие. Всё то время, что она здесь была, вы словно светились изнутри. Но сильнее всего – в тот момент, когда кто-то сказал, судя по всему, о единственном клиенте бара: «Этот авантюрист в конце концов покончит жизнь самоубийством». В этот момент у вас из рук выпала трость, и все обернулись, чтобы на вас посмотреть. Но вы этого даже не заметили.

20 – «Она» всё это время была так близко от нас, почти между нами, – и вы не догадались?

– Но кто же это?

– А что если это вы?

Пиа покраснела, словно поддаваясь искушению в это поверить, чтобы успокоиться, но затем передумала:

– Нет.

Затем кровь отхлынула от ее лица, и она застыла в напряжении, все еще не зная, правда это или розыгрыш; но по улыбке Бриса, которую она заметила краем глаза, не поворачивая головы, Пиа поняла, что это невозможно, и прошептала:

– Вы демон. У вас лицо демона.

IV

Когда они вышли на улицу, Брис сказал:

– Не оставляйте меня одного. Я умру, если в этот вечер останусь один хотя бы на секунду.

Его интонация свидетельствовала о том, что он говорил искренне; но Пиа вспомнила, что завтра воскресенье, и ей нельзя сегодня ехать к Брису. Поэтому она сказала таким тоном, словно делала ему необычное и крайне рискованное предложение:

– Ну что ж, едем ко мне. Вы хотя бы как следует выспитесь.

Брис согласился на эту очередную «неосторожность». Только ли из-за того, что это было действительно рискованно? Только ли крайний риск мог сейчас избавить его от навязчиво-тревожного состояния? Поехать спать в дом, где он до этого был всего два или три раза, к замужней женщине, муж и сын которой, почти незнакомые ему, спят где-то совсем рядом, так, что он, возможно, услышит их размеренное дыхание во сне, – забавляла ли его такая перспектива? А вдруг они, разбуженные непривычными звуками его шагов и заинтригованные странными перешептываниями хозяйки дома и позднего гостя, явятся проверить, в чем дело – и,

скорее всего, когда на смену их первоначальному замешательству придет гнев, вышвырнут его и Пиа из дома еще до наступления утра?

Да, здесь явно присутствовала неосторожность. Но в то же время и Неосторожность.

Пиа указала Брису на диван в гостиной, где ему предстояло провести ночь, в окружении гобеленов с вытканными деревьями, словно на поляне среди густого леса, в глубине которого, как можно было предположить, отыщется немало укромных мест для любовных утех.

Брис подчинился тайному приказу. То, что он делал, лишь казалось тем, что он нарочито изображал: он вел себя так, будто у него еще от начала времен назначено свидание в сердце этого таинственного искусственного леса, куда ему суждено попасть только во сне.

Пиа уже хлопотала вокруг него: принесла стакан воды, затем снотворное.

– Я и впрямь думаю, что ломаю комедию, хотя я от этого умираю? – спросил себя Брис, когда остался один. – Моя боль и смерть – они тоже будут всего лишь комедией? Я и сам уже не понимаю, страдаю ли я на самом деле или притворяюсь страдающим, не знаю, до какой степени страдаю или не страдаю, страдаю ли сильнее, чем наслаждаюсь, или наоборот? И вот наступила эта ночь. Я засыпаю посреди волшебного леса. Пиа дала мне какое-то успокоительное, но ничто не сможет сдерживать меня во сне. Я всегда знал, что однажды засну именно в этом месте.

Самое ужасное – то, что я страдаю и при этом думаю, что ломаю комедию, что моя боль – всего лишь комедия, тем большая комедия, чем она сильнее; что я могу страдать всё сильнее и силь-

нее лишь при условии, что моя боль – комедия, так что, в конечном счете, я уже перестаю понимать, страдаю я на самом деле или изображаю страдание – но тогда начинаю страдать уже от притворства. В результате я то и дело перехожу от чистого, беспримесного притворства к чистому, беспримесному страданию. Когда они больше не смешиваются, притворство доставляет мне радость оттого, что я больше не страдаю, а страдание радует тем, что я больше не притворяюсь. И вот наконец я испытываю одну лишь чистую радость и от притворства, и от страдания. Иными словами, когда я страдаю, мне больше всего хочется, чтобы страдание прекратилось, – но тут я вспоминаю, что всего лишь притворяюсь, и это притворство служит мне утешением: я больше не страдаю, я притворяюсь и наслаждаюсь этим. Но мое сердце не выдерживает притворства – ему нужно, чтобы я страдал. Я страдаю и нахожу в этом радость, утешая себя тем, что мое страдание притворно.

Когда Пиа склонилась надо мной со своим успокоительным снадобьем, я попросил ее сказать мне одну из тех фраз, что становятся незабываемыми, и она произнесла: «Мы с вами – два настоящих гротеска, остальные – подделки», – исключив нас, таким образом, из числа сегодняшних гостей Розфельдов и из всего остального человечества. Стало быть, мне больше не стоит притворяться? Стоит по-настоящему страдать? Я страдаю. Какая радость! Наконец-то! Но, может быть, я – и то, и другое – гротеск и подделка? Остается лишь узнать, кто возьмет верх. Может быть, я – подделка, а Пиа просто не хочет в это верить? И как бы она об этом узнала, если я никогда не говорил ей правды о себе? А если бы она узнала о моих планах –

что бы она подумала? Если бы она узнала, о чем я думаю, когда я с ней, о ком я думаю, ради охоты за кем я взял ее с собой?.. Гротеск? Да, гротеск, она права, сама не зная о том. Она догадалась.

Когда я вновь уловил между трепещущих век этот силуэт, его чуть неловкую, скованную торжественность, делавшую его смешным, я почувствовал, как меня захлестнула жалость – к самому себе. Мне показалось, что она вот-вот убьет меня. Однако уже в следующий момент, словно под воздействием какой-то сверхъестественной силы, красота этого лица предстала мне со всей очевидностью, и я вновь оказался во власти былого смятения. Едва ли не самой большой неосторожностью на свете было решиться признать, что больше всего меня притягивает в этом лице, отторгая от всего остального и от себя самого, его абсолютная пустота – когда, в самом конце вечеринки, он появился, закутанный в бежевый непромокаемый плащ, и я увидел его стальные глаза под золотыми ресницами; его голова и сердце, возможно, были столь же пусты, как и лицо; вокруг его талии скользило множество обнаженных рук; его тело угадывалось под плащом – изысканное, бледное, но источающее скрытый жар, как подземный вулкан, как лихорадка. В сущности, одно только это истинно: это вечное повторение, это постоянное пристрастие к разочарованию и словно бы тайное слияние души с невидимым ореолом вокруг теплой капли крови.

Как Пиа была красива сегодня вечером в этой полутемной комнате, где казалась почти светящейся в своем белом шелковом платье, как нежно порхали ее руки вокруг моего лица и моей лжи. Это она достойна любви, а я ее не люблю, и со-

знание того, что она достойна моей любви, заставляет меня ненавидеть ее за то, что она лучше того, кого я ей предпочитаю. Возможно ли, чтобы я оказался настолько смел или настолько труслив, чтобы сделать из нее – при том, что она об этом не догадывалась и на это не соглашалась – приманку, средство, способ приблизиться к одному и увлечь другого в сети моей ловушки? Какое оскорбление доверия! Какая жестокость! Какое предательство уважения и дружбы! Но, может быть, в конечном счете меня завораживает именно эта игра, в которой Пиа является самым ценным козырем, моя собственная дерзость, дерзость моей тайны? Изысканность и чистота, которые я приношу в жертву тому, кто меня влечет, волнуют меня больше, чем тот, кто меня влечет. Только из-за Пиа, которую я увлекаю за собой в бездну моей погибели, я начинаю ненавидеть мое преступление, которое этот подонок довершит, а потом забудет в своем абсолютном, святотатственном фатализме.

На следующее утро горничная вошла в гостиную, чтобы раздвинуть шторы. Повернувшись, она увидела спящего на диване незнакомца и вскрикнула от неожиданности.

Брис, чье лицо было обращено к окну, уже слегка позолоченному рассветом, продолжал спать под сенью гобеленовых лесов, пленником которых он был. Ему казалось, что он видит весь остальной мир где-то вдалеке перед собой – отсюда он казался слегка покачивающимся золотым светильником.

Голос девушки не достиг его слуха, но словно разбил его сон на осколки, вторгшись в него чужеродным, непрошенным пришельцем.

Однако он привлек внимание Фарамонда, и тот вошел в гостиную. Вскоре Брис услышал, как Пиа шепотом объясняет, что вчера вечером была вынуждена привезти его сюда, поскольку он был болен и несчастен.

Фарамонд был, пожалуй, единственным на всем свете человеком, способным воспринять столь необычную ситуацию не без тайного удовольствия.

Брис тем временем окончательно проснулся, но еще долго продолжал делать вид, что спит, чтобы обитатели дома привыкли к его присутствию.

V

Брис никогда не вскрывал писем, которые получал, кроме тех, что приходили от Пиа, но однажды вечером узнал на одном из конвертов герб лорда Кроннфилда. Одно таинственное воспоминание связывало Бриса с этим старинным ирландским католическим семейством, и мог ли он поверить, что без колебаний нарушит свой обет, который в течение пяти лет соблюдал неукоснительно, – оставаться глухим к вестям из внешнего мира? Письмо было от дочери лорда Кроннфилда, Наталины. Она писала, что покинула Англию в двадцать два года, после того как замужество избавило ее от необходимости оставаться при дворе и позволило жить где угодно – и, как ей представлялось, в обществе тех или иных эксцентричных мужчин, которых несчастье или гениальность вынуждают держаться особняком и жить в уединении, но с которыми сведет ее случай. И вот благодаря случаю она оказалась соседкой Бриса, и благодаря случаю – узнала от Розфельдов, где он живет. Поскольку она не была лично с ним знакома, а также по причине всевозможных легенд, окружавших его, и той дружбы, которая некогда связывала его, еще подростка, с ее отцом, Натали-

на захотела его увидеть: она надеялась, что рассказы о его авантюрах, которые она сохранит в тайне, только для себя, послужат ей утешением в том, что круг ее общения включает в себя людей заурядных, без всякой загадки, – несмотря на ее постоянное стремление их избегать.

Там же она сообщала, что завтра вечером за ним заедет один надежный человек, чтобы отвезти его к ней.

Едва наступил вечер, Брис услышал шум подъезжающего автомобиля. Он спустился и забрался внутрь.

Прибыв к Наталине, которая заставила долго себя ждать, он, к своему величайшему удивлению, обнаружил, что его проводник не был ему вовсе незнаком – когда-то они встречались в Риме. Почти сразу же Брис вспомнил и его фамилию – Раванн, и прозвище – «Сын дьявола». Но тот, кажется, не узнавал его.

В ходе беседы выяснилось, что у них, хотя они не признавались в этом друг другу, есть множество общих друзей и знакомых.

– Каждый раз, когда я на вас смотрю, – произнес вдруг странный собеседник Бриса, – мне кажется, что я вижу перед собой одного из моих друзей, хотя раньше я был уверен, что на свете нет человека, похожего на него; и точно так же после знакомства с вами почти сразу возникает убежденность в том, что нет никого, похожего на вас. То есть у вас с ним есть еще и эта общая черта.

Брис сделал гримасу, изображающую недоверие.

Раванн добавил:

– Глядя на вас, замечаешь отблеск аметиста – вы словно отбрасываете на стену фиолетовую тень, а не черную, как все остальные. В вашем лице и руках чувствуется высокое достоинство священнослужителя. Это ведь именно фиолетовый, а не пурпурный отблеск, не так ли? Вы не питаете пристрастия к пурпуру, месье Брис?

Брис подумал, что это намек на убийство, которое ему приписывали, и теперь у него не оставалось сомнений, что собеседник его узнал.

Вошла Наталина.

Две складочки в уголках ее рта, похожие на следы тонкого лезвия – словно два поблекших шрама, готовые закровоточить вновь, – еще больше подчеркивали, именно в силу своей жестокости, нежность ее лица. Она двигалась с необыкновенным изяществом, напоминающим неуловимое скольжение язычка пламени или клинка, ее руки порхали, будто бы повторяя движения невидимых крыльев – в точности как руки Бриса.

Принесли горячительные напитки, смешали коктейли в бокалах.

Наталина, рассказав о своей феерической свадьбе в Вестминстере – в частности, с иронией расписав свое подвенечное платье из серебряной парчи, – поведала еще об одной истории, случившейся в тот же день: став женой лорда, она стала возлюбленной незнакомца, который сразу после этого погиб у нее на глазах, возможно, из-за любви к ней. Именно с этим человеком, а не с лордом, она, по ее словам, обручилась по-настоящему – «если мы принадлежим только тем, кто сумел нас заслужить, о ком никто не знает, но мы безошибочно отличаем от всех остальных существ, насе-

ляющих тайный остров нашей души». Она внезапно обнаружила его на мостике яхты, абсолютно обнаженного. В тот же миг он оказался перед ней (она его не узнала – трудно узнать обнаженного человека), поцеловал край ее вуали, а затем с легкостью звезды или птицы взмыл на вершину шеста с призом, наподобие майского, водруженного у борта, а оттуда бросился в море. Она так никогда и не узнала ни его дальнейшей судьбы, ни его имени. Море сохранило это лицо и это столь прекрасное тело, говорила Наталина, которая с тех пор не могла смотреть на других мужчин без презрения, а в морских путешествиях всегда опьянялась, чтобы выдержать невидимую близость губ утопленника.

Брис тоже стал рассказывать о вымышленной жизни, которая могла бы быть его, – подобно Энею в гостях у Дидоны или Одиссею – у Навсикаи.

В какой-то момент он сказал – так, словно бы досада на недавнее событие взяла в нем верх над приятным опьянением, со слезами в голосе:

– Мне только что отказали в пурпуре, и теперь я безутешен.

Наталина пообещала его утешить, но взамен попросила рассказать самую тайную авантюру всей его жизни.

При первых же его словах Раванн узнал Обюссона.

– Не помню точно, сколько мне было лет, – кажется, это случилось лет пять назад, – когда один из моих друзей, знатный французский дворянин, доверил мне воспитание своего сына, самого любимого, рожденного от румынской еврейки. Кни-

ги, которые я написал для этого ребенка, составляют большую часть всех моих заслуг, но никто их не читал, кроме него. Чтобы приспособиться к этой роли, мне пришлось избавиться от множества закоренелых пристрастий к разного рода удовольствиям и возродить в себе мудрость, почти утраченную. В сущности, я не понимаю порока, если он никак не связан с добродетелью, и добродетели, если она полностью чужда пороку. Меня интересует лишь драма, которую творят Добро и Зло. Но я не отдаю предпочтения ни Добру, ни Злу – я ценю лишь Отвагу. Итак, я проводил время уединенно, в обществе лишь моего ученика и наших книг, в одном из венских дворцов, и новизна моих непривычных обязанностей меня увлекала; и вот, на обратном пути из кратковременной поездки в Италию я был застигнут врасплох ужасной встречей или, точнее, странным раздвоением. Моя хрупкая маска внезапно раскололась, но только для меня одного, и предо мной предстало мое истинное лицо: Опасность. Мое наставничество показалось мне скрытой апологией Зла. Несколько дней спустя я покинул Вену, порвав с официальной церковью. Я мог совершить все возможные проступки, но коль скоро я не любил, любой проступок, разумеется, был уже не важен, его в принципе не могло существовать; но стоило мне полюбить – и всё становилось одним сплошным проступком, поскольку всё, чем я являлся, всё, что я делал и говорил, было недостойно предмета моей любви. Даже творимое мною добро, как мне казалось, унижало меня по причине его недостаточности; что уж говорить о зле. Я бежал от любви всю свою жизнь, из-за того, что она всегда увлекала меня за собой на путь смирения и гор-

дыни, падения и преображения – иными словами, на путь инициации души; из-за вызываемого ею чувства несовершенства и вынужденного стремления к Совершенству. И вот странное, внезапно возникшее стремление к Чистоте, словно огненный вихрь, вырывало меня из привычной жизни. Я отказался даже от имени моих предков, чтобы надежнее скрыть от себя то волшебное открытие, которое незадолго до того сам же и сделал: что это имя самого безумного из всех влюбленных. По сути, с тех пор я перестал быть Брисом Обюссоном; для Бриса Обюссона больше не было другой «реальности», кроме Лица, Тела и двух Рук, величественных и запретных, которых я никогда больше не увижу. Я освободился от всего.

Когда рассказ был окончен, Наталина бесшумно проскользнула в соседнюю галерею, дверь которой была скрыта портьерой. Вскоре оттуда появилась процессия слуг, под аккомпанемент торжественного марша, исполняемого на органе. Одни несли в руках зажженные светильники, другие – благовония и цветы. Наконец появилась Наталина, облаченная в стихарь и держащая с мистическим трепетом – кончиками пальцев, на расстоянии от себя – красный шелковый покров с вышитым узором из дубовых листьев, который некогда принадлежал знаменитому понтифику. Наталина торжественно облачила в него Бриса, говоря:

– Два моих дяди были Папами. Обюссон, я делаю тебя кардиналом.

VI

Несколько дней спустя Брис Обюссон впервые за многие безмятежные годы услышал у себя за дверью шум.

Схоластика напустила на себя загадочный вид, но Брис узнал голос Эфорба, своего воспитанника, как только она открыла дверь.

– С самого вашего отъезда я колесил по свету, притворяясь, что путешествую! – воскликнул тот прямо с порога. – На самом деле я искал вас. Я был настолько заинтригован вашим бегством, что решил непременно выяснить его причину. Наконец прошлой ночью, после полуночи, я встретил Равванна, который указал мне путь, – и вот, как видите, сегодня в полдень я у вас.

Брис, говорят, что ты святой. Скажи, что такое Бог?

Брис указал пальцем на луч света, пробивавшийся между неплотно задернутых штор и выхватывающий из темноты резной карниз старинного бретонского шкафа. Затем, после долгого молчания, он заговорил, сначала обращаясь к Эфорбу, а затем – словно к самому себе:

– Может статься, Эфорб, что вы, произведя весь этот переполох, нанесли Богу оскорбление? Цве-

ты, растущие на моем пути, мешают мне следовать по нему; они повсюду – в воздухе, у меня во рту; они не дают мне дышать. Они в моих мыслях – они не дают мне думать. Они у меня в руках – они мешают мне действовать. Радость душит меня, окутывает меня, как плащаница из роз. Я жду лишь Мага, который рассеет эту атмосферу – тяжелую, абсурдную, волшебную.

Перед самым пробуждением я очень четко

услышал во сне слова, слишком прекрасные для того, чтобы обозначать ими любовь земных созданий. Эти слова сложились в какой-то необычный афоризм, смысл которого, проснувшись, я не мог понять. Они все еще оставались в моем сне, будто замерли между Землей и Небом, между моим сознанием и мной, когда ты пришел. Мне кажется, я подслушал их случайно. Одно из этих слов было чем-то вроде «блаженный», в этом я уверен, но звучало более торжественно; второе означало нечто еще более ослепительное, чем «красивый»; третье – еще более чистое, чем «чистый». В следующий миг передо мной предстал некто, в мгновение ока перенесший меня, совершенно ошеломленного, в необычное место, полное наслаждений. «О, ночь! Куда меня ведешь ты, брат Зима?» Разъяренные сторожевые собаки пристально смотрели на нас, не пытаясь укусить. В огромном зале шел снег, и этот человек, который был одновременно и самим Солнцем, скользил по стенам. Отчего-то ему невозможно было спуститься вниз, но он мгновенно оказывался рядом с вами, стоило вам попасть в беду, и даже среди самых жестоких катастроф он протягивал вам свою руку для поцелуя. О, эта затянутая в перчатку рука, всегда рядом, всегда в перчатке, эта рука в центре Ночи, в центре Жизни. Эта рука в перчатке до сих пор

пребывает в глубине всех моих ночей; средоточие всей моей жизни – эта невидимая рука. Эта перчатка – потайной ход, ведущий в сад Юности. Умирают лишь от того, что не могут его найти.

– Я вспоминаю, – прошептал Эфорб, – о той ночи в окрестностях Рима. Когда мы с тобой катались верхом, моя лошадь вдруг понесла. Я уже думал, что разобьюсь, но ты сумел схватить ее за узду и успокоить. Тогда я поднес твою руку к губам и поцеловал ее сквозь перчатку.

– У Бога не один и тот же возраст для каждого из нас. Для меня зима не наступает в то же время, что и для других. Лето ворвалось ко мне слишком поздно, в середине декабря, словно диковинный плод, источая все оттенки ароматов. Я приблизился к окну, чтобы вдохнуть их, и в тот же миг предвечный свет озарил мои смертные глаза. Нужно было видеть то лицо, которое увидел я, и этот отблеск неземного света, осенявший его. С тех пор я могу полностью заснуть только в грезах. Конечно, порой я засыпаю, но тотчас же начинаю грезить. Иногда я грежу, что сплю, – это почти то же самое, что обычный сон, но в нем на миг проскальзывает тень мечты, более волнующая, чем все мечты вместе взятые. Свет, увиденный мною однажды, ослепил меня навсегда; мой поврежденный оптический нерв не способен больше ничего увидеть, а моя душа не находит покоя. Во мне пробудились древние желания, и время от времени я чувствую, что на меня смотрит бездна: ее края на миг распахиваются передо мной, как сомкнутые веки, и взгляд, полный невыразимой нежности, пронзает мою плоть. Ее мерцающие огоньки, которых ни небо, ни земля больше не могут от меня скрывать, а я не могу достичь, чаруют меня, как воспоминание о потустороннем видении.

Эфорб не хотел больше расставаться с Брисом. Они провели весь день в саду, где мелодично журчал ручей: Брис Обюссон – безмятежный и непринужденный, Эфорб – бесхитростный и нежный.

– Солнце, – прошептал Брис, – теперь для меня просто черная каменная глыба. Теперь я вижу другой свет, не тот, что все остальные.

– Скажи, пожалуйста, какое событие, о котором я могу только догадываться, так изменило все стороны твоей жизни?

– Эфорб, если бы я знал, здесь бы не было никакой загадки. Бог утратил свою тайну, а моя душа – свою ценность, даже для меня самого. Могу сказать только одно – я чувствую себя так, словно освободился от всего – от Времени, от Пространства.

– Но кто же – ангел, мужчина или женщина – совершил это чудо?

– Какая разница? Важно ли, кто его совершил, коль скоро оно было предначертанным, неизбежным?

– Расскажи, по крайней мере, о том священном трепете, который на наших глазах возносит тебя в Вечность.

– Эфорб, этот трепет, однажды охвативший меня, подобно благодати, нисшедшей на грешника, – ощущение столь новое, не только для меня, но, я бы сказал, для самой природы человеческой, что я затрудняюсь его определить. Когда оно охватывает меня, особенно среди людей, – я чувствую некую вселенскую отчужденность, духовную и физическую, которая есть самый верный, надежный и абсолютный признак «избранности». Я в один миг становлюсь одним из тех истинных праведников или грешников – кем бы ты ни предпочел меня считать, – которых всегда немного.

Невозможно быть более одиноким (даже звезда не столь одинока) – и в то же время причастным к малейшим проявлениям «Абсолюта» – который, возможно, столь же чужд той глубокой мистерии, что сам же и сотворил.

– Я вспоминаю, как однажды ночью, уже давно, ты разбудил меня, склонившись надо мной, а я притворялся, что сплю, глядя на тебя сквозь ресницы. Мне кажется, именно с того момента ты изменился.

– Эфорб, я подобен человеку, который хочет подняться к истокам реки Времени. Я подобен человеку, который настойчиво пытается вернуться к началу дня – как будто можно за один день дважды встретить полдень. Моя жизнь внезапно остановилась, в ней словно произошел разрыв: на миг я перестал дышать. За то, чтобы вернуть этот миг, это блаженное оцепенение перед разлитым в земной природе неземным светом, словно заблудившимся и попавшим сюда случайно, – я бы отдал всё, что у меня есть, всё, что я есть, мою вечность. Ничто в существующей вокруг реальности мне больше не интересно. Моя душа, ослепленная навсегда, ничего не видит за этим воспоминанием, которое есть одно лишь сожаление, и это сожаление заняло во мне место желания. Я больше не плыву в потоке времени – время разрушает меня, но теперь не в силах увлечь меня за собой. Ткань моей памяти разорвана, некогда сплетающие ее нити уже не восстановить – и эту безнадежность я предпочитаю любой надежде.

– И ты больше не встречал этот образ, представший тебе в видении?

– С тех пор, как он предстал передо мной, я чувствую себя оторванным от всего на свете, в том числе и от него самого. Я словно оказался на

острове, окруженном стеной пламени; я вступил в одиночество, созданное именно и только для меня. Я один, абсолютно один; и с тех пор как он исчез, а я продолжал видеть его перед собой, я стал лишь еще более одинок, навечно одинок. В его присутствии меня всякий раз охватывает чувство «единства», чья экстатическая сила подавляет во мне способность выносить чью-либо иную близость. Лишь в его отсутствие, сходное с некой волшебной раздвоенностью, я ощущаю себя двумя существами одновременно и вновь испытываю сожаление, что эти двое – не одно целое; поэтому я не знаю, что в конечном счете для меня предпочтительнее: присутствие, которое есть лишь иная форма отсутствия, или отсутствие, которое есть лишь иная форма присутствия, еще более волнующая.

Пусть мои слова тебя не ужасают – это просто моя привычка говорить с самим собой вслух… Между моими мыслями и словами больше нет той дистанции, которая существует, к примеру, между твоими словами и мыслями; я столь же мало нуждаюсь в собеседнике для того, чтобы говорить, как ты – для того, чтобы думать. Не замечаешь ли ты этого различия: мой голос слабее, чем любой другой, в нем не звучат те же звонкие ноты, что в твоем, но он задевает в твоей душе какую-то неведомую струну? Это оттого, что я создал из самого себя некое иное Существо, которое кажется тебе и другим ирреальным, но, возможно, поэтому тем реальнее оно для меня; истинное, неисчезающее, неотчуждаемое от меня во веки веков, оно существует где-то в бесконечности, куда я его поместил, и где только я о нем знаю; единственное, только для меня одного, и противоречащее всему

тому, что есть во мне – и при этом дарующее мне неизведанные чувства и необычайные способности, о которых я доселе не подозревал, и, без сомнения, сходные с дарами, о которых говорит апостол Павел: дар слез, языков и пророчеств.

– С восходом солнца день возносит крылья превыше ночи, рассыпая букеты обещаний. Ночь падает, как занавес, скрывающий кого-то от меня, или смыкается надо мной, как море; мое Видение живет на далеком острове, едва различимом отсюда, и я медлю, боясь ступить в ледяную воду, чтобы до него доплыть. – но, когда я все же пускаюсь в опасное плавание и наконец достигаю своего заповедного острова, мое Видение предстает передо мной в окружении хищных зверей, и даже если я убью их всех, оно призовет для защиты своего одиночества от меня свою магию.

В тот вечер Бриса ждала к себе Наталина, но атмосфера нежной интимности, что постепенно окутывала его и Эфорба, показалась ему более желанной, чем любые сатурналии. Он послал сказать ей, что не придет, что волею случая он в этот вечер не один.

Наталина категорически не приняла его отказ. Она передала, что друг Бриса может приехать к ней вместе с ним.

Пока Брис колебался, в замешательстве стоя у порога и раздумывая над тем, стоило ли ему, самому еще будучи здесь чужаком, без всякого стеснения приводить другого незнакомца в дом женщины столь сомнительной репутации, Эфор-

ба впустили в дом через низко расположенное окно, под которым тесно переплетенные ветви деревьев, усыпанные цветами, образовывали нечто вроде лестницы, – и в результате он первым встретил «Кардинала» (как все отныне называли Бриса) в салоне Наталины, куда тот вошел под дружные приветственные аплодисменты собравшихся.

VII

Пиа не смущалась присутствием Бриса ни перед Фарамондом, поскольку Фарамонд, будучи либертеном, предоставил ей полную свободу, ни перед своим сыном, поскольку не была любовницей Бриса, хотя и любила его. Она никогда не упускала случая сказать тем женщинам, которые встречали ее неизменно в обществе Бриса, что он для нее «Данте», тогда как она для него – всего лишь «теология».

Брис порой рассказывал Пиа об Эфорбе, с которым она была знакома. Отец Эфорба был другом семьи Фарамонд, и именно в их доме Брис впервые встретил своего будущего ученика, тогда еще подростка.

Однажды вечером Брис в присутствии Фарамонда предложил Пиа поужинать завтра вместе с ним. Он обещал заехать за ней вместе с Эфорбом. Она приняла приглашение.

Поскольку при разговоре присутствовал Отон, которого его мать интересовала гораздо больше, чем его игрушки, он вмешался в обсуждение ее планов на завтрашний день и спросил в свойственной его возрасту наивной манере:

– Месье Брис, зачем вам приводить сюда еще одного влюбленного?

Фарамонд улыбнулся. У Обюссона вытянулось лицо. Пиа, которая знала о навязчивой идее своего сына, расхохоталась. Ребенок продолжал:

– Нам ведь так хорошо и спокойно с мамой, вам и мне. Папа не в счет. А этот придет и всё испортит.

Отон обожал свою мать и думал, что все мужчины, кроме его отца, в нее влюблены – только Брис и он сам представляют собой некое особое исключение. (Однажды Брис спросил Пиа: «Скажите, в глазах вашего сына – кто я для вас?») Перед тем, как отправиться спать, Отон еще раз спросил, слегка недовольным тоном:

– Ну так что, месье Брис, он завтра заявится – этот ваш влюбленный?

На следующий день, когда Брис приехал к Пиа, вначале один (Эфорб вынужден был немного задержаться), он застал ее в смятении. Она рассказала, что совсем недавно к ней приходила гадалка, рекомендованная ей одной очень хорошей подругой, и что эта женщина, лишь на секунду взглянув ей в глаза, а затем на ладони с пристальным, болезненным вниманием, с криком выбежала за порог, словно у нее в одно мгновение помутился рассудок от увиденного.

В этот момент появился Эфорб.

Пиа захотела взять с собой очаровательного зверька, с которым никогда не расставалась, похожего на собаку, кошку и обезьяну одновременно. Эфорб любезно взял на себя заботу по переноске этого монстра.

Пиа и Эфорб были красивы больше, чем это подобает и мужчине, и женщине; что до Бриса Обюссона, он словно бы являл собой скрытую сторону

их красоты: он был тайной пружиной, приводящей в действие механизм их очарования, который он создал исключительно для своего пользования и в котором никто другой не смог бы полностью разобраться; казалось, что если он не будет стоять за ними, оживляя их движения и воспламеняя их взгляды, они станут незаметными и бессильными. Присутствие Бриса, из-за той пустоты, которую он создавал вокруг них, окружая их неким мистическим великолепием, делало их в какой-то степени ирреальными; они в полной мере обретали материальность лишь рядом с ним и благодаря ему. Укорененные на почве его постоянной глухой тревоги, они сверкали, как редкие драгоценные камни на черном бархате или глаза хищника в чаще девственного леса. Они расположились по обе стороны от Бриса, и время от времени Пиа инстинктивно поворачивалась к Эфорбу, словно не была уверена в его существовании, и он делал то же самое, как будто у него ее существование тоже вызывало сомнение.

– Ваш «объект» появится сегодня вечером? – спросила Пиа.

– Непременно.

Брис хорошо знал, что делает, занимаясь постановкой этой драмы. Всем нравится ощущать себя в атмосфере таинственности, словно любые события, готовящиеся там, куда они пришли, устраиваются только ради них.

Однако Пиа в этот вечер чувствовала себя совершенно одинокой, не в силах забыть о странном поведении гадалки, которая к ней приходила и, взглянув на нее, убежала с криком.

В середине вечера ей позвонила та самая подруга, которая рекомендовала ей гадалку, – она знала, где Пиа сегодня ужинает, – и сказала, что после случившегося ей вообще не стоило бы выходить из дома.

По мере того, как надвигалась ночь, Брис всё больше мрачнел. В полночь Эфорб поднялся, чтобы с ними проститься.

– Брис, так ваш «объект» был здесь, да или нет?

– Да.

VIII

Хотя увлечения Фарамонда являли собой полную противоположность увлечениям Бриса, он был не менее своеобразным типом. По натуре – истинный палач, с левой рукой садиста и правой рукой скупца, хотя и не лишенный некоторой снисходительности, он никогда ни у кого ничего не просил – напротив, казалось, готов был всё отдать, но очень скоро становилось очевидным, что он сохранил свое при себе и впридачу забрал остальное. В высшей степени искусный постановщик разного рода житейских драм, он изо дня в день создавал самые необычные ситуации, в которых чувствовал себя как рыба в воде, мастерски сочетая трагические и комические элементы, но не позволяя себе чересчур увлечься теми или другими. Это придавало его существованию остроту, вносило в него ту долю риска, которую другие находят в страстях и развлечениях, – нечто подобное испытывает акробат, вцепившийся зубами в золотое кольцо под куполом цирка. Даже государственные дела, к которым он в свое время был причастен, были для него все той же разновидностью эквилибристики. Окружающие постоянно удивлялись тем рискованным крайностям, с которыми он вел

эти дела, не компрометируя себя и не проваливая никаких поручений, при всей их важности с одной стороны и деликатности – с другой; но больше всего – тому неизменному равновесию, которое он умудрялся сохранять, балансируя на столь тонкой нити со столь тяжелыми грузами. Его частные дела обычно пребывали в том же состоянии хрупкого равновесия, которое придавало им его элегантное чувство ритма, изредка нарушаемого умышленным дисбалансом, когда на грани неизбежного, казалось бы, поражения он вдруг неожиданным маневром обеспечивал себе триумф.

Те, кто был посвящен в детали его личной жизни, сравнивали его с Людовиком XV. Это благоприятное для себя сравнение Фарамонд использовал в своих интересах прежде всего потому, что оно не соответствовало истине, о чем он знал лучше, чем кто-либо другой, и в конце концов принялся недвусмысленно копировать, нарочно их преувеличивая, манеры и внешний облик этого монарха, получившего титул «Возлюбленного», – особенно в обращении с женщинами, где такое поведение было наиболее выгодно; вместе с тем он всячески оберегал себя от тех докучливых неудобств, что могло бы принести ему подобное сходство. Демоническая часть его натуры уступала политической, удачные махинации доставляли больше удовольствия, чем любовные похождения, и он всегда готов был пожертвовать любовным свиданием в пользу делового, хотя любые дела в конечном счете оправдывали для него свое существование, если только – и в зависимости от того, в какой мере, – могли послужить его очередной любви, которая могла оказаться последней в его жизни и единственной, которая для него имела бы значение.

Было известно, что он обладал целой плеядой любовниц; всегда казалось, что он любит только последнюю из них, не отдаляясь, однако, ни от одной из предшествующих, которых он использовал (такова была его странная причуда) на благо фаворитки, но ей он предпочитал ее гипотетическую преемницу, которую пока не знал, – что, в сущности, было равнозначно тому, чтобы вовсе никого не любить. Только первая любовница играла в его личной жизни исключительную роль, будучи, как маркиза Помпадур, одновременно и его тайной полицией, и распорядительницей исходящих от него благ. Однако, если ему случалось на людях уронить платок, именно она, по устоявшемуся между ними обычаю, должна была на глазах у всех его поднять; но это лишь добавляло величия им обоим.

Как только она узнала о близких отношениях Обюссона и Пиа, Фарамонд был немедленно поставлен ею в известность. Его гордость не пострадала: Брис Обюссон, хотя и человек смутного происхождения, всё же не был первым встречным, а жена Фарамонда, которую он предоставил самой себе еще десять лет назад, нуждалась в развлечениях, чтобы не докучать ему, но при этом ей не следовало компрометировать себя и заходить слишком далеко – лишь настолько, чтобы не иметь повода ни в чем его упрекать. Однако, когда он узнал от достопочтенной Эдме, что однажды Бриса видели с Пиа у Розфельдов, а на следующий день – в ресторане «Незабудка» в компании некой Мальвальдины, которую он хорошо знал, – он слегка забеспокоился. Он еще мог допустить, чтобы имя Фарамонда собрало на себя немного пыли, но считал непозволительным валять его в

грязи на каждом шагу, тем более что направления этих шагов он не мог предугадать. Легкий скандал, который хоть как-то оживил бы размеренное существование его жены, его бы позабавил; но не целая череда. Фарамонд хотел бы сам его создать, сам рассчитать его масштаб, глубину, продолжительность, придать ему тот или иной оттенок, дозировать его элементы – словом, сделать его неизбежным, после чего поддерживать и направлять его до тех пор, пока сам не сочтет нужным его прекратить, – о, разумеется, без всякой нетерпимости, без всякой суровости, сохраняя нарочитое безразличие. Никогда человека меньше не заботят вопросы добра и зла – например, то, что говорят о его собственных добрых и злых деяниях, – когда это остается лишь на уровне слов; порой он даже рад, что окружающие не замечают тех добрых свойств его натуры, которые он и сам предпочитает скрывать, а говорят вместо этого о злых, которые он выставляет напоказ, но лишь из притворства: на самом деле они ему чужды. Однако для иных понятия «чести» или «личного интереса» представляют определенную важность, и разговоров, которые могли бы в этом отношении нанести им ущерб, они любой ценой стараются не допустить; но если такие разговоры все же начинаются, они сразу же перестают беспокоиться о том. Как всякий человек действия, Фарамонд всегда почтительно склонялся перед непоправимым, хотя в его случае эта почтительность была довольно близка к безразличию.

Пиа не понимала, что Фарамонд, хотя и нарушил все возможные правила, всё же соблюдал, пусть и формально, одно-единственное; именно поэтому он говорил о своей жене, что ей «недо-

стает серьезности», хотя в глазах других людей, гораздо менее терпимых, чем он, она выглядела даже чересчур серьезной. Фарамонд, который проявлял поистине королевское презрение к морали и одновременно обладал врожденной склонностью к пороку и скандалу, часто говорил о ком-нибудь – например, о д'Эристале – «Он серьезный», или наоборот, как о де Бариэле: «Ему не хватает серьезности». Все удивлялись, не понимая, что он имеет в виду. Впрочем, если бы его спросили, кто такие эти молодые люди, он ответил бы: «Два прохвоста». В его устах такое определение в равной степени могло бы послужить как высшей похвалой для одного, так и тяжким порицанием для другого. Прежде чем сблизиться с кем-то, он должен был для себя убедиться, что перед ним «серьезный прохвост». Серьезность для него означала умение скрывать полное отсутствие моральных принципов – иными словами, наличие достаточно большого потенциала как для лицемерия, так и для преступления, и вместе с тем – хотя бы минимум осмотрительности в спонтанных порывах. Мораль для Фарамонда сводилась к тому, чтобы инстинктивно проводить разграничение между «допустимым» и «недопустимым» во Зле, – то есть проявлять и во Зле некий здравый смысл. Он точно знал границы дозволенного в этом мире и ту грань, которую нельзя переступать. Он знал меру, превышение которой обращало законность в беззаконие – тот предел осторожности, за которым начиналась неосторожность, грозящая гибелью. Ему была ведома наивысшая ступень Осторожности. Он изобрел собственную манеру непозволительного поведения, в котором ничего неприемлемого со стороны не удавалось ни заме-

тить, ни пресечь – настолько выверена была грань между скромностью и бесстыдством, невидимая для остальных, порядок среди хаоса: обходительность в непристойности.

Одновременно с тем, как восхищенный шепот, который неизменно сопровождал каждое появление Пиа в обществе, – после вечеринки у Розфельдов и ужина с заговорщиками ее красоту превозносили до небес, – вновь пробудил в Фарамонде угасший интерес к жене, – он, подобно опытной ищейке, занялся тщательным сбором сведений о Брисе Обюссоне, полагая, что именно его рука, привычная к ремеслу палача, достойна того, чтобы взломать драгоценный ларец, заключающий в себе тайну этого человека, – пусть даже его охраняет невидимый дракон.

Он льстил Брису, обхаживал его, завлекал, старался расположить со всеми удобствами в своем доме: «Пиа и я нуждаемся в друге, так же как вы – в ней, – говорил он. – Располагайтесь здесь, на этом диване. Я настаиваю, что здесь вы у себя дома, даже в большей степени, чем я. Вот это место, этот лес – ваши владения».

Чаще всего Фарамонд и Брис встречались по вечерам, под сенью вытканных на гобелене деревьев, возле ложа, на котором располагалась Пиа, – и Фарамонд, зная, что Бриса гложет какая-то тайная печаль, всячески старался задержать его подольше, а заодно завоевать сердца, его и Пиа: для этого он проявлял величайшую обходительность, вплоть до того, что сам раскладывал для него подушки и пледы у ног своей жены; и когда они вдвоем располагались на ложе иеруса-

лимским крестом, Фарамонд, сидящий рядом на небольшой скамеечке, погружался в молчаливое созерцание этого зрелища, ничуть не испытывая от двойного сближения – Бриса и Пиа и себя с ними – мук ревности, напротив – искреннее, гурманское наслаждение.

IX

Эдме звонила каждый день, с десяти утра до двух дня, чтобы сообщить Фарамонду сведения, полученные накануне за вечерним чаем, а в течение последних нескольких дней – еще и с полуночи до часа, чтобы поговорить о том, что касалось Пиа и душевного состояния самого Фарамонда, которое ее слегка беспокоило. Пиа всегда испытывала особенную слабость к этой старой Эдме, которую Фарамонд когда-то оставил, чтобы жениться на ней. Она всегда питала некоторую слабость ко всем любовницам своего мужа, которых он оставлял одну за другой уже после женитьбы. Можно было бы подумать, что причиной тому просто общая участь, объединяющая ее с ними против очередной фаворитки. Однако последняя из них вызывала у нее не столько ненависть, сколько любопытство, тогда как внимание, уделяемое ею другим, было крайним средством, к которому она решилась прибегнуть, чтобы оставаться хоть в чем-то причастной к личной жизни своего мужа.

Итак, у Эдме появилась одна большая забота: она была убеждена, что в жизни Фарамонда, без всякого ее участия, формируется какая-то новая связь, четвертая со времен его женитьбы, но един-

ственная, представляющая опасность, из-за характера этой женщины, которая сумела без всякого посредничества – без *ее* посредничества – навязать себя Фарамонду. Эдме упрекала себя в том, что не смогла предвидеть, предотвратить такой удар, заблаговременно отстранив ту, которая теперь, может статься, уничтожит и слабую тень того могущества, которую она еще сохраняла, и лишит ее последнего занятия, остававшегося в ее праздной жизни, – управлять сердцем Фарамонда. Эдме следила за всеми радостными событиями в его жизни, оберегая его счастье, как мать. До недавних пор она сама выбирала ему любовниц, опекала их, чуть ли не с детства, словно готовя сложное блюдо для гурмана, и, когда наступал подходящий момент, устраивала его встречу с ними, – будто случайно, так, что он ни о чем не догадывался, – уже получившими все необходимые наставления касательно одежды и манер от нее, хорошо знавшей его вкусы и пристрастия. Если они убегали, она ему их возвращала; становясь их конфиденткой, она множество раз становилась и посредницей в переговорах. Если им случалось захворать, именно она о них заботилась, лечила их и выхаживала, а если они умирали, она закрывала им глаза. Если же они не умирали, но Фарамонд ими пресыщался, она давала им понять, что всё кончено, и сама подавала пример того, как отныне следует себя вести – она подыскивала для несчастной какое-нибудь укромное уютное гнездышко, ничем не напоминающее место заточения изгнанницы, и порой сама отправлялась туда вместе с ней, готовая какое-то время разделять одиночество покинутой – вплоть до самой тесной близости, ибо она умела влюблять в себя и щедро осыпала свою

подопечную подарками и нежностями. И разве не случалось ей порой даже приводить к бедняжке утешителя, который непременно был молод, хорош собой и почти всегда – один из тех, кого Фарамонд называл «проклятыми душами»? Фарамонд и в самом деле порой находил для своей фаворитки какого-нибудь прекрасного «виночерпия», который сопровождал его повсюду, не позволяя чувствовать себя одиноким с ней или без нее. В отсутствии его любовницы его спутник говорил с ним о ней, что было для Фарамонда верхом наслаждения, а когда они собирались все вместе, присутствие третьего лица мешало ей говорить о себе – что было бы для Фарамонда верхом скуки. Стоило ей ему разонравиться, этот общий друг, при посредничестве Эдме, совершенно естественным образом становился ее утешителем.

Не приходится удивляться, что за последние двадцать лет ни одна мысль Фарамонда не ускользала от ее внимания, и ни один из планов его любовных кампаний не разрабатывался без ее участия, – что составляло всю славу Эдме. Какой триумф, какой престиж для стареющей кокетки! Благодаря Фарамонду и ключам от его сердца, которые она носила на поясе, Эдме могла еще позволить себе иметь свой собственный блестящий придворный круг и молодых любовников, хотя и мечтающих прежде всего о том, чтобы приблизиться к недосягаемому Фарамонду, которым они восхищались издалека и питали иллюзии, что смогут достичь своей цели через нее. Эдме догадывалась об этих миражах, но была далека от того, чтобы ревновать – напротив, это пробуждало в ней гордость и одновременно трогало до глубины души. Поскольку ее самолюбию льстило

именно то, что Фарамонд в каком-то смысле присутствовал в каждой из ее любовей, они никогда не были для нее заурядными; напротив, одно лишь его соучастие могло сделать их приемлемыми, приятными. Ее отталкивало лишь то, что было чуждо Фарамонду; если он отсутствовал в чьем-то сердце, это сердце не имело для нее никакого очарования, никакого интереса. Зачастую случалось так, что она без всяких сожалений разрывала отношения с подобными людьми: последний из них, амбициозный молодой человек, которого она осыпала милостями, лишился их в тот момент, когда, забывшись, рассеянно сказал, что, кажется, давно уже не видел Фарамонда. Этим он оскорбил ее до глубины души, сам того не желая и не сознавая, в чем состоит для нее вся прелесть этой связи, ее особое удовольствие, – ибо, если бедное тело Эдме больше не принимало участия ни в чем материальном, разве что приобщалось к нему путем тайного умозрительного сообщничества, ее наэлектризованный мозг лихорадочно пульсировал, создавая причудливую диаграмму, смысл которой он часто разгадывал неожиданно, а еще чаще – несвоевременно.

Но вот «та женщина», чью роль она так ясно видела в своей игре, судя по всему, была недалека от того, чтобы впасть в немилость. Тонкая ткань искусно сплетенной ею интриги, казавшаяся столь прочной, грозила распасться в любую минуту под рукой существа, даже имя которого было ей неизвестно. Эдме знала лишь о некоторых чертах характера этой новой соперницы, почти эфемерной, но все же соперницы: о той поговаривали, что она умышленно выставляет себя неверующей, будучи при этом одержима мистицизмом; что она

амбициозна и больше заботится о том, чтобы выйти замуж за Фарамонда, нежели о том, чтобы добиться его любви. Если бы она любила Фарамонда как такового, размышляла Эдме, всё было бы спасено; однако, судя по всему, она оказалась единственной, кто устоял перед его обаянием, доселе считавшимся неотразимым, и это не предвещало ничего хорошего: поскольку она уже не сдалась, она не сдастся и впредь, а если она не сдастся, она сумеет надежно привязать Фарамонда. Кроме того, разве не говорили, что эта «незаурядная» женщина, не довольствуясь тем, что очаровывала и пленяла своих любовников, еще и прививала им, просто ради развлечения, пороки, мало-помалу их губившие? Фарамонду грозила опасность! Так не должна ли была Эдме пожертвовать собой, чтобы его спасти? Она любила Фарамонда достаточно сильно для того, чтобы на это решиться; но если бы вместе с собой она погубила и его, для нее это означало бы погибнуть дважды.

С другой стороны, Пиа угрожал развод, и мысль об этом тоже была невыносима для Эдме, словно бы в этом ей виделось посягательство на ее собственное счастье, точнее, то, что от него еще оставалось: ведь стоило ей встретить кого-то из знакомых, где бы то ни было, она – поскольку сама думала исключительно о Фарамонде – всякий раз ни к селу ни к городу спрашивала: «Вы ищете Фарамонда?» «Вы хотите увидеться с Фарамондом?» – хотя на самом деле это она его искала, это она хотела его видеть, тогда как он больше не стремился с ней увидеться. Или же она могла спросить: «У вас есть какие-нибудь новости о Фарамонде?» – потому что у нее самой их не было и она надеялась узнать об этом от других. (Еще ей всегда было

свойственно задавать собеседнику вопрос тем тоном, которым обычно спрашивают, как вы относитесь к жаркой погоде: «Как вы относитесь к истине, хорошо или плохо?» – и в зависимости от ответа составлять об этом человеке свое мнение.) Имя Фарамонда читалось на ее губах, светилось в ее глазах, звучало в ее ушах, струилось в ее крови, трепетало в ее волосах. Она должна была первой открыть глаза Пиа. Подумать только – Пиа в разводе!

Что до самой Пиа, то прежде она втайне об этом мечтала. Развод представлялся ей счастьем всё то время, что она воображала себя возлюбленной Бриса. Однако теперь – из-за сына, из-за себя, из-за того, что не ей принадлежала инициатива в этом деле, из гордости, – в глубине души она его отвергала.

X

Брис жил у Пиа уже неделю. Фарамонд, очевидно, отправился путешествовать. Пиа и Брис, в полной уверенности, что он не вернется внезапно, с легкостью приходили и уходили когда им вздумается. Брис, хотя и с подбитым крылом, обходился другим, чтобы парить; к тому же с Пиа, своей полуконфиденткой, он чувствовал себя свободно. Поскольку она знала, что он несчастен, ему не приходилось притворяться. Даже когда он смеялся, она знала, что это смех отчаяния.

Пиа только что дала Брису ночной халат Фарамонда, после чего им оставалось только отыскать его домашние туфли – и тут Фарамонд собственной персоной вошел в комнату.

Был ли он изумлен или потрясен зрелищем подобной интимности – но, во всяком случае, он походил на человека, застигнутого землетрясением или пораженного ударом молнии. Почти голый – он начал раздеваться еще в лифте, – с бессильно свесившимися руками и низко склоненной головой, он, казалось, готов рухнуть ниц, как пьяный, чтобы только не видеть этого человека, расположившегося в его доме удобнее, чем он сам, и чувствующего себя здесь даже непринужденнее, чем

он сам – в компании его жены, облаченный в его халат и буквально при нем надевший его домашние туфли, которые только что нашлись.

Однако Фарамонд не спрашивал себя ни о том, возможно ли было «это» в двух шагах от его сына и фактически в его собственном присутствии, ни о том, не привиделось ли ему это зрелище; напротив, он был уверен, что всё происходит наяву, и одновременно думал, что Брис – настолько необычное существо, что вполне достоин восхищения Пиа и его собственного, что у него, Фарамонда, нет никакого права сомневаться в чистоте взаимных чувств Бриса и Пиа, и что даже если бы эти чувства были не столь чисты, в глубине души он понимал, что ему не в чем никого упрекнуть, и меньше всех – Пиа, которой, в свою очередь, также не в чем упрекнуть его самого; оставалось лишь признать, что они все втроем выше каких бы то ни было упреков.

Настенные часы пробили дважды.

Пиа и Брис переглянулись, удивленные необычным видом и молчанием Фарамонда.

Фарамонд спросил, может ли он поужинать – как если бы находился не у себя дома. Пиа тут же поспешила взять на себя те обязанности, которые прислуга давно забросила; ее волосы развевались, лицо будто светилось изнутри, поступь была легкой, словно у газели. Фарамонд наблюдал, как она то и дело исчезает в тени, и оттуда выпархивают лишь ее оживленно двигающиеся руки – будто завороженный этим зрелищем, он слабыми непроизвольными жестами собственных рук словно задавал ритм ее движениям и подчеркивал очарование своей жены в глазах Бриса, одновременно давая понять, что восхищается ею в той же мере, что и его гость.

Когда стол был накрыт и все трое расположились за ним, оказалось, что Фарамонд, единственный, кто попросил об ужине, вообще ничего не ест. Смущенные этим, Брис и Пиа ели без особого аппетита. Однако та общая расслабленность, которую приносит с собой совместная трапеза, даже такая мрачная, как эта, дала о себе знать, и вскоре сидящие за столом разговорились.

Пиа рассказала, как несколько недель назад ее зашла навестить одна женщина, которую одинаково ужасают как ее «счастье», так и ее «несчастье». Фарамонд с некоторой неприязнью взглянул на жену, ощущая ее скрытую нервозность. Он сказал, что всего один раз в жизни имел дело с гадалкой, которая предсказала ему, что он умрет молодым, причем жестокой смертью, и что ему нужно торопиться жить.

Затем, крутя в руках столовый нож, он осведомился у Пиа, по-прежнему ли на месте его револьвер, который обычно хранился в небольшом шкафчике слева от секретера.

Брис похвалил блюдо из свеклы и подлил себе еще вина. Потом решил рассказать «одну очаровательную историю».

– Я рассказываю ее сам себе всякий раз перед сном. Если бы у меня было время, я бы рассказал ее себе и перед тем, как заснуть вечным сном.

– У вас есть время, – сообщил Фарамонд.

История и впрямь оказалась столь очаровательна, что Фарамонд слегка приподнял склоненную голову и сложенные на коленях руки. Затем взглянул на своего гостя с некоторой завистью.

– Моя история окончена, – сказал Брис.

Затем произошло нечто в высшей степени странное. Фарамонд поднялся с места и объявил:

– Брис Обюссон, я не хочу, чтобы говорили, что такой человек как вы спит в моем доме на диване, тогда как я сам сплю в своей кровати. Я хочу, чтобы вы спали в моей кровати, на моих простынях, в моей ночной рубашке, а я этой ночью буду спать на диване, под гобеленом с изображением Леса.

Если вы не окажете мне такой чести и такого удовольствия, я даже затрудняюсь вообразить, на какую жестокость окажусь способным по отношению к вам.

Брис запротестовал – его отвращала мысль о том, чтобы согласиться на подобное предложение, столь неожиданное, что даже непонятно было, чего в нем больше – трогательной непосредственности или шутовства, если только в нем не таился какой-то коварный умысел.

Фарамонд начал неторопливо прохаживаться от шкафчика, в котором хранился его револьвер, к столу, на котором, словно на алтаре, возлежал его нож. «Ну так что, вы готовы? Вы уже разделись?» – негромко спрашивал он время от времени.

Брису оставалось лишь уступить, и, рассмеявшись, он позволил отвести себя в спальню Фарамонда и облачить в его ночную рубашку.

«В чем тут подвох?» – размышлял Брис, оставшись в одиночестве. Отчего Фарамонд решил улечься спать в Лесу? Чтобы разделить таким образом Пиа и Бриса, заняв комнату, которую надо было пересечь, чтобы попасть из одной спальни в другую, и создав преграду из своего собственного тела? Но нет, разумеется, Фарамонд был настолько выше подобных мелочных расчетов – или, точнее, подобный расчет показался бы ему столь странным, – что можно было предположить, что

этим кознодейством он скорее надеялся повергнуть в смятение душу Бриса, нежели самому приблизиться к Пиа.

Однако всякий раз, когда Пиа и Брис украдкой заглядывали в гостиную, чуть приоткрывая занавеси своих спален, они видели одну и ту же картину: Фарамонд неподвижно стоял на коленях, склонив голову к ножу, который держал в руках.

Можно вообразить, как была ошеломлена на следующее утро горничная, которая в положенный час вошла в гостиную, чтобы открыть ставни на окнах, при виде хозяина дома, спящего одетым, стоя на коленях с ножом в руках, и как был удивлен Отон, когда чуть позже вошел в комнату отца, где рассчитывал найти Бриса, о чьем визите ему сообщила мать, – но никого там не обнаружил.

Вечером того же дня Пиа, Брис и Фарамонд беседовали. Фарамонд спросил, не смущаясь присутствием Пиа:

– Как вы думаете, Брис, Пиа сильно привязана к моей фамилии? Носить фамилию Фарамонд, жить в этом особняке – много значит для нее?

Брис, памятуя о недавних тревогах Пиа, ответил, что для нее всегда имело значение только «ее счастье».

Он особо подчеркнул это расплывчатое слово, словно желая придать ему более четкую форму.

– Что ж, – ответил Фарамонд, – тогда я предлагаю ей, в присутствии вас, нашего общего друга, именно это: быть счастливой. Пиа, я прошу у тебя развода. Брис, если вы захотите, то сможете жениться на Пиа, а она станет моей любовницей. Поменяемся ролями.

Брис тотчас же встал с места и направился к двери.

На пороге он обернулся и поднял руку в знак прощания.

– Кардинал благословляет нас, – иронически сказал Фарамонд и нарочито торжественно перекрестился.

Теперь Пиа окончательно убедилась в том, что Брис не любил ее: только что, в решающий момент, он добровольно отказался от нее, оттолкнув в объятия Фарамонда.

Фарамонд был бесконечно благодарен Брису за то, что тот снова сблизил его с женой, и хотя, без сомнения, он полностью присвоил себе заслугу этой легкой победы, он не мог не оценить той элегантности, которую проявил Брис, чтобы не разлучать его и Пиа.

Впрочем, отдавая всё, Брис ни от чего не отказывался, если у него не могли взять обратно то, что однажды дали: в этом было его величие.

Однако, стоя в дверях с поднятой правой рукой, словно у Христа на Страшном Суде, словно колеблясь – благословить или проклясть, он услышал, как Пиа прошептала:

– Но, Фарамонд, на ком же вы собираетесь жениться?

– На Наталине Кроннфилд.

XI

В окружении Наталины принято было называть «Троицей» одну женщину и двух мужчин, объединенных в очевидный для всех союз. Возглавлял его д'Эристаль. Это был англичанин, рожденный от матери-индианки. Его тело было гибким, словно у пантеры; одна лишь его тень заставляла трепетать целые леса, а в его глазах отражалась пустыня; каждый его шаг был танцем, каждое слово – песней. Его туалеты, крайне эксцентричные, оставляли желать лишь чуть больше роскоши. Например, он не мог простить Кардиналу, что тот однажды превзошел его, повязав невероятно дорогой шейный платок. Бариэль, его спутник, был по сути его вещью; д'Эристаль с особым удовольствием подвергал его разнообразным издевательствам и при этом, ради вящего унижения, непрестанно упрекал в том, что тот превратился в его раба. Что до Катрин д'О, их общей знакомой, которая и свела их друг с другом, это была высокая костлявая женщина, обладавшая странной, болезненной красотой, которую она порой использовала для того, чтобы заставлять д'Эристаля ревновать ее к Бариэлю, а иногда – для того, чтобы побуждать их обоих исполнять, вместе с ней, различные прихоти Наталины.

И вот Обюссон только что узнал, что д'Эристаль был одной из «проклятых душ» Фарамонда.

Вскоре Брис получил два письма. Одно из них было от Эфорба, который сообщал, что охотился в Черном Лесу. Он описывал свои походы, пейзажи, смерть сбившегося с пути альбатроса, которая произвела на него такое сильное впечатление, что для него стал невыносим даже самый вид оружия. Второе письмо было от д'Эристаля, который приглашал Бриса на праздник, намечавшийся у него дома вечером этого же дня, ближе к полуночи.

Брис долго отказывался.

Однако к десяти часам вечера компания друзей Наталины, которых она называла «мои трагики» – в противовес спутникам д'Эристаля, которые для нее были «мои шуты», – прибыли к нему, чтобы его уговорить, и наконец он согласился. Но едва он вошел в дом д'Эристаля и собравшиеся почтительно расступились перед Кардиналом, – каково же было его удивление, когда он увидел перед собой Эфорба, которого полагал пребывающим где-то в сотне лье отсюда, на своей воображаемой охоте, и который в этот раз снова распахнул перед ним дверь!

Брис удержался от восклицания, и никто не заметил на его лице каких-либо признаков смятения, – но он догадался, что ему приготовили ловушку.

Здесь был и Раванн, которого называли «сыном дьявола» – он возглавлял «хор трагиков», в центре которого сейчас оказался Брис.

Д'Эристаль начал с колкости. Поскольку бедный Кардинал снова был в дорогой рубашке, д'Эристаль не преминул заявить: «Я ношу белье

из хлопка, но из настоящего хлопка!» Эфорб, слушая это и втайне страдая, опасался, как бы под бременем непрерывных обвинений величие Бриса Обюссона не пошатнулось. «Вот эту цепочку, – продолжал д'Эристаль демонстрируя свои браслеты, – мне подарил один француз, десять лет назад. Это единственный подарок на моей памяти, который сделал француз мне или кому бы то ни было. Французы предпочитают получать подарки; у них всегда где-то есть семья, которую нужно кормить, и к тому же им нужны королевские наряды».

Эти намеки оледенили собравшихся, и они обратились к горячительным напиткам.

Однако внимание Бриса было почти сразу же отвлечено одной гадалкой, которая принялась увлеченно рассматривать его руку. Она оказалась среди приглашенных случайно и, судя по всему, никого здесь не знала.

– Мне довелось повидать десять тысяч пятьсот шестьдесят три руки, – сказала она Брису, – я специально их считала и составила подробное описание каждой из них. Но у вас линия сердца гораздо выше, чем на всех остальных, что мне встречались. Вот это и мешает вам быть счастливым. Заставьте ваше сердце медленно опуститься вниз, вдоль ребер.

Кардинал, поскольку предпочитал счастью свободное парение своего сердца в небесных эмпиреях, не мог удержаться от улыбки, хотя и был взволнован, даже в большей степени, чем подобной характеристикой своей личности и своих действий, тем, что узнал эту гадалку – именно она уже наносила визит Пиа, а затем Фарамонду.

Мансарда д'Эристаля, служившая в обычное время кабинетом, была просторной и полутемной – ее освещали лишь две свечи, горевшие, словно звезды, перед портретами двух женщин; поскольку каждая свеча была заслонена пергаментным экраном, казалось, что свет на танцующих излучают лица, изображенные на портретах, – лица Наталины и Катрин д'О. Только Обюссон не танцевал. Он сидел под балдахином, задрапированным красной тканью, в самом темном и уединенном углу, так что остальные о нем позабыли. Однако Эфорб, время от времени подходивший к нему и шептавший что-то на ухо, тем самым разоблачал его присутствие, едва ли более ощутимое в темноте, чем присутствие золотой мозаики. Его рука – единственное, что было на свету, – мимолетно освещала его лицо всякий раз, когда он проводил ею перед собой, и тогда можно было заметить его улыбку в отблеске золотого кольца на его мизинце, – но эта улыбка словно стремилась укрыться даже от его собственных глаз; одни лишь его веки улыбались. Он казался то обнаженным, то облаченным в рубиновое сияние. Порой, когда на него случайно падал блик света, старинная шелковая ткань его пластрона с изящной вышивкой из нитей серебряной парчи в игре света и тени создавали столь завораживающие узоры, что казалось, будто сонмы архангелов поднимаются и спускаются по его груди. Он словно был освещен своим персональным солнцем, настолько ярким, что вынужден был загородиться от него облаком или, скорее, ветвями некоего нематериального дерева, набросившими на него свой мистический покров; но, будучи невидим, он все же надеялся, что его взгляд в конце концов

не останется незамеченным – если для других он был пронизывающим, как острие клинка, и ощутимым до такой степени, что мог вызвать невольный вскрик боли, то для самого Бриса в нем угадывалось некое божественное присутствие: Брис прозревал, что его взгляд очерчивает собой круг пламени, сдерживая его в этих узких границах, отчего всё, что он видел, представало ему словно сквозь огненную завесу – и с болезненной медлительностью подступающей лихорадки радостная дрожь поднималась из глубин его тела, заставляя трепетать не только нервы, но и кисти рук, особенно указательные пальцы.

Звуки механического пианино побудили пары к очередному танцу, и в этот момент Наталина исчезла. Перешагнув подоконник высокого окна мансарды, она выбралась на крышу – судя по всему, этот маневр был ей привычен, – и, поскольку Брис сидел прямо напротив этого окна, он мог проследить за ней взглядом. Вытянувшаяся на спине, как будто прямо посреди ночного неба, в окружении звезд и каминных труб, напоминающих цилиндрической формы вазы, в которых распускались дымные цветы, она казалась каким-то инфернальным серафимом, вознесшимся над горделивым и одиноким миром Отчаяния.

В углу возле двери завязался какой-то спор, но пианино заполнило Вселенную звуками фуги, навевавшей невероятную грусть. Оглушительное, неотступное молчание словно окутывало эту музыку. Как знать – возможно, где-то в пространстве этого мира она пересекала необъятную пустыню памяти Бога? Пары кружились, и Кардинал, сидя-

щий неподвижно, чувствовал, как его отделяет от остальных, словно личный эскорт, это молчание. Он мельком подумал, что в отсутствии Наталины множество танцоров осталось без пары; тогда он поискал глазами Эфорба и заметил его в отдалении от остальных, с внешней стороны круга, образованного танцующими, прямо напротив себя: лицо Эфорба было обращено к нему, взгляд был неотрывно прикован к нему – он стоял на коленях, застыв в немом восхищении.

Это были неповторимые минуты жизни Бриса, и он удерживал их у границ величественных и опасных владений своей гордыни, словно сжимая кончиками пальцев хрупкие поводья. В какой-то момент он подумал о том, чтобы встать с места и тоже опуститься на колени, но это могло разрушить его собственную тайну, потревожив Время – самую великую тайну из всех, в которую можно проникнуть, лишь взяв в проводники Необходимость.

«Кони Страха вознесли меня над Страхом», – записал Кардинал на манжете, и в этом момент он был больше чем кто-либо отделен от Времени, застыв в самом сердце неподвижной минуты, словно в своей отдельной вечности. Это не ускользнуло от внимания «сына дьявола», и он прошептал Брису на ухо: «Сегодня вечером некто был один на всем свете одну благоговейную секунду – и это был ты, Обюссон, которому ничто не доставляет удовольствия».

Когда танцы возобновились (Наталина, Эфорб и Кардинал были единственными, кто не танцевал), Брис незаметно пересек зал, пододвинул к окну табурет и вылез на крышу. Вытянувшись

рядом с Наталиной, он созерцал ночную бездну, словно глядя вглубь своей собственной души. Вокруг царил покой, густые кроны деревьев в саду монастыря аннунциаток застыли неподвижно – даже самый слабый ветерок не трепетал в их непроницаемой черноте.

Но внезапно он обернулся, словно повинуясь неодолимому влечению – и, пораженный, некоторое время не мог поверить своим глазам, гадая, была ли то игра света и тени на оконном стекле или просто мираж: у окна стоял Фарамонд, положив руку на плечо Эфорба.

И всякий раз, когда возобновлялись танцы, Брис смотрел, словно в глубину собственной души, в темную бездну, откуда вздымались кроны монастырских деревьев, а когда очередной танец заканчивался, оглядывался на освещенное окно, в котором четко вырисовывался силуэт Фарамонда.

Начало светать. Брис в сопровождении Наталины вернулся в мансарду д'Эристаля, но пока он шел, Фарамонд успел исчезнуть как по волшебству – будто прошел сквозь стену.

Эфорб, увидев Бриса, направился к нему с явным намерением задержать.

– Я пришел только ради того, чтобы не ссориться с д'Эристалем, – сказал тот. – Сейчас я хочу уйти.

Эфорб с мольбой посмотрел на него и в следующий миг протянул ему бокал, который чья-то невидимая рука вложила в его собственную.

– Выпейте это, – произнес он, – и вам больше не захочется уходить.

Голос Эфорба неожиданно зазвучал по-новому – повелительно и в то же время нежно; в нем

слышался зов Смерти – и Кардинал, улыбаясь, принял из его рук напиток, хотя и догадывался, кто его приготовил и какому риску себя подвергает. В один миг он скрыл в себе содержимое бокала, после чего цвет его лица почти сразу же изменился – словно он и впрямь был отравлен.

Наталина, держась в стороне, спрашивала себя: «Это лицо, эти руки, что для Обюссона являются единственной и недостижимой реальностью, эти Руки и это Лицо – чьи они?» Ничто не занимало ее больше, чем эта загадка. Она жила одним лишь любопытством, стремлением постигать необыкновенное. Для того, чтобы услышать действительно увлекательную сердечную историю, она готова была пешком отправиться в Рим, а чтобы уловить «истинную душу» – из Рима в Иерусалим. Но сейчас – разве не было то, чего она искала так далеко, совсем рядом с ней, в душе Бриса Обюссона?

Но сам Кардинал в этот момент почувствовал, что вот-вот упадет, и успел лишь выйти в прихожую, где в полной темноте инстинктивно вцепился в вешалку – и тут же его голова бессильно свесилась на грудь.

«Сын дьявола», который первым вышел вслед за ним, громко объявил: «Обюссон распят!»

Эфорб тут же устремился к дверям, приблизился к своему повелителю и прижал его августейший лоб к своему плечу. Остальные образовали по обе стороны от них живую – и движущуюся – изгородь и проводили до ближайшей спальни, где Кардинала уложили на кровать.

Затем погасили свет и вышли, оставив его одного.

Когда Эфорб украдкой заглянул в прихожую, он увидел, что вешалка разлетелась вдребезги. Крючки были разбросаны по полу. Должно быть, Брис, под воздействием своего недомогания, вообразил, что увидел идеальный нотный стан, и сумел уловить мелодию в его монотонности; и сразу же после этого величественным жестом колосса он ее стер.

Эти осколки музыки так растрогали Эфорба, что он не отходил от Кардинала до наступления дня, иногда покусывая его за плечо или за запястья, чтобы вывести из синкопы, оставаясь в которой, тот мог погибнуть.

На следующий день Брис, проснувшись у себя в полдень, не мог вспомнить, что происходило накануне. Лишь кровоточащие следы укусов, похожие то ли на узор из цветов, то ли на клеймо, свидетельствовали о событиях, полностью изгладившихся из его памяти.

Если бы у Наталины спросили, что она думает о «той ночи», она бы сказала: «Фарамонд был невыносим, Обюссон непревзойден». Но когда она написала Брису, прося у него извинения за поведение д'Эристаля, он ответил: «Я сожалею о том, что с вами произошло и осталось мне неизвестным; но, бога ради, не заставляйте меня вспоминать ни о вашем соучастии во всем этом, ни о тех, кто оскорблял и распинал меня; я был один перед этой монолитной стеной. Вы называли меня жестокосердным – и вот вы осмеливаетесь просить у меня снисхождения к моим палачам. Это уж слишком; хотя я люблю вас в том числе и за все эксцессы того вечера, после которых вы доказали

мне, что единственная сохранили благородство, и за те утонченные образы, которые запомнились мне по нескольким нашим празднествам».

«Так оно и есть, – размышлял Брис в одиночестве. – Я должен был туда пойти. Теперь я стал сильным. Теперь я мертв. Я прошел через смерть. Я уже «по ту сторону». Меня трижды убили, и я жив. Я всё предвидел: и западню, и внезапный отъезд, во время которого готовился заговор. И когда тот, кто отравил меня, стоял на коленях – передо мной, хотя далеко от меня, – и просил у меня прощения за то зло, которое собирался мне причинить, я уже всё знал. Кого они хотели испытать? Его или меня? Легкомыслие или трусость одного? безразличие или смелость другого? Или же хотели скомпрометировать то единственное, что отличает меня от них всех – Достоинство? Но мое достоинство сохранено, если тот, кто поднес мне проклятый бокал, сказал во всеуслышание, перед тем как передать мне его: «Я преклоняюсь перед Обюссоном».

Что общего отныне еще сохраняется между этим ребенком и мной? Лишь манера, с которой он совершил свой поступок (сам поступок ему не принадлежит). Лишь утонченность этой жестокости, ее торжественность, церемониальность – всё как предписывают правила вежливости, даже в преступлении.

Какое утешение для жертвы, если тот, кто нанес ей удар, почитает ее больше всех на свете, больше, чем себя самого! Я сохраню это волшебное воспоминание со всей тщательностью. Это всё, что Эфорб смог сделать для меня, всё, что он должен был для меня сделать, и именно то, чего я заслуживал. Какая признательность!

Преступление? Ну и что с того? Это же Фарамонд. Но эта изысканная почтительность – то, что принадлежит ему и мне, только ему и мне, нам.

Я охотно оставляю другим «удовольствие», которое для них лишь страдание, и даже «счастье» – еще большее страдание, и сохраняю для себя полную, абсолютную Неосторожность.

Когда я еще не выпил ни капли их отравы, разве не заметил я того, кто преклонил колени передо мной, очень далеко от меня? Это ведь не был ни Эфорб, ни кто-то еще из гостей. Это был Бог. Дьявол шепнул мне это на ухо. В глубине души я хорошо знаю, на что способен Бог, как знаю и то, что отрава в конечном счете пошла мне на благо, как Митридату.

Пока там оставалась хоть одна живая душа – моя, они еще не могли рухнуть под столы. И вот они протянули мне этот бокал, словно гася последнюю лампу, которая еще охраняет владения света. Я взял его, и этот выбор оказался роковым. Я погрузился в каталепсию и очнулся лишь утром, покрытый ранами, а мой пурпурный галстук больше напоминал веревку на шее висельника! «Любовь, – говорил в шестнадцатом веке еще один кардинал, – ты явилась мне нищей, нагой и страждущей. Я сделался тобой – и вот благодаря мне ты стала Князем Церкви». Что до меня, у кого нет ничего общего с любовью, – я бы мог сказать то же самое Риску.

XII

Вечером следующего дня Пиа пришла к Брису по просьбе Фарамонда, который просил уговорить его не оставлять их одних.

Вернулись они вдвоем, довольно рано, еще до того, как пришел Фарамонд. Брис читал, Пиа вязала в углу у камина, когда появился юный Отон.

– Как хорошо вы тут вдвоем устроились, мои любимые! – воскликнул он и, бросившись на кровать, принялся играть с тростью Бриса.

И тут Фарамонд, словно смерч, ворвался в комнату. Отон, зарывшись головой в плюшевые подушки, изумленно наблюдал за отцом, который прямо с порога закричал:

– Прежде всего, Бога нет! Поскольку его нет, мы свободны – мы можем делать всё, потом всё переделывать или разрушать. Можем убить себя. Отон, где мой револьвер? Пиа, вы не знаете, где мой револьвер?

Отон широко распахнул возмущенные глаза на отца, который захотел лишить его веры в Бога. Тот продолжал:

– Отон, можешь ли ты, или вы, Брис, или вы, Пиа – доказать мне, что Бог существует? Невозможно доказать существование того, кого не су-

ществует! Если бы вы сказали мне, например, что мой дед, который умер двадцать лет назад, сидит вот в этом кресле, я бы потребовал у вас доказательств, и даже если бы вам удалось описать его лицо, которое вы, Брис, никогда не видели, я бы вам не поверил; я поверил бы только в то, что вы сподобились какого-то мистического озарения – но ваши сверхъестественные способности касаются только вас и не могут подтверждать существование чего бы то ни было, не имеющего отношения к вам. Или еще проще – кто-то рассказал вам о нем или показал его портрет. Но как признать, что мой дед сидит в этом кресле, если я его не вижу – и при этом я не слепой? Я не обязан признавать существование того, кто прячется – но если мне не хватает проницательности, чтобы его заметить, то как можно упрекать меня в том, что я его не вижу?

Никто не отвечал; напротив, все с каждой минутой погружались во всё более глубокое молчание, и даже маленькая собачка, сидящая у Пиа на коленях, казалось, затаила дыхание. Фарамонд, в одиночестве возвышавшийся посреди комнаты, внезапно отступил назад, словно испугавшись того, что и в самом деле увидел в кресле, на которое указывал.

– Пиа, Брис, Отон, я призываю вас в свидетели: не видите ли вы кого-нибудь вот в этом кресле, что стоит у изголовья кровати? Может быть, я схожу с ума? Пиа, вы ведь были знакомы с моим дедом? Вы узнаете его? Он сидит в кресле возле вашего изголовья! Без сомнения, я соглашусь, что схожу с ума – мне кажется, будто я его вижу, слышу! Я готов допустить, что и впрямь его вижу и слышу, но я не могу признать, что мой дед, который давно

умер, которого я похоронил сам, своими собственными руками, в присутствии моих сестер, сидит в этом кресле – хотя я прекрасно вижу в этот самый момент, как он машет мне рукой!

Пиа и Отон одновременно вздрогнули. Брис, напротив, расхохотался.

– Так какой смысл отрицать Бога, чтобы убедить себя в том, что ты свободен делать всё что угодно – всё разрушать, включая самого себя? – спросил он. – Это же трусость. Что до меня, то я позволяю себе делать всё, что захочу, независимо от того, сидит Бог в этом кресле или нет.

Фарамонд сел в другое кресло, расположенное так, что он оказался спиной к своему видению, и принялся разглядывать свои руки и ноги, ощупывать лицо, оттягивать вниз концы воротничка. Затем униженным тоном спросил:

– Скажите, Брис, что вы делаете для того, чтобы все вас любили, уважали, восхищались вами?

– Все?

– Я хочу сказать, все те немногочисленные существа, чьей любви, уважения, восхищения только и стоит желать. Вот меня никто не любит, не уважает и не восхищается.

– Спросите лучше об этом у вашего деда, который сидит вон в том кресле.

– Брис, скажите, вам не доставлял неприятных ощущений запах моей ночной рубашки, в которую я вас облачил в тот вечер? Она была пропитана моим запахом, и именно в свой запах мне хотелось вас облачить. С недавних пор я дурно пахну – мне больше не нравится мыться, потому что при этом мне приходится смотреть на свой живот, что вызывает у меня неодолимое желание расхохотаться. Я ничего не могу с этим поделать,

и именно в этом основа моего внутреннего разлада – в этом запахе. Мне кажется, что даже если я вымоюсь, я всё равно буду его ощущать – свой собственный запах, который мне ненавистен, который меня отравляет. О! никогда не ощущать этого запаха означает быть молодым. Пиа, где мой револьвер? Брис, что бы вы подумали о себе, если бы от вас исходил тот же запах, что от моей ночной рубашки, в которой вы спали той ночью? Отон, не взяли ли вы мой револьвер в свою комнату, чтобы поиграть с ним? Его больше нет в том шкафчике слева. Брис, взгляните на меня – я всегда стремился лишь к удовольствию, и может быть, поэтому не снискал ничьей любви и дурно пахну?

Отон, который всегда ненавидел своего отца, потихоньку соскальзывал с кровати по мере того, как Фарамонд к ней приближался. В следующий миг он вернул оружие, о котором шла речь, достав его из черной шкатулки. Пиа с укором взглянула на него и жестом велела ему уйти, но Отон сделал вид, что не заметил этого жеста.

– Воистину, – продолжал разглагольствовать Фарамонд, – я меньше всего являюсь тем, чью роль себе избрал. Отон, ты должен вернуть мне револьвер.

– Но, отец, я только что вам его отдал!

– Например, я избрал себе роль – быть мужем Пиа, хотя на самом деле мне бы следовало стать ее любовником. В результате я не стал ни тем ни другим. Пиа, нужно найти мой револьвер. Если для меня Отон – мой сын, то я для него – не отец, я это знаю. Все считают меня важной персоной, которой я научился притворяться, но на самом деле я тряпка. Если я занимаю крайнее место справа, то лишь потому, что для меня не нашлось достаточно

близкого места слева. Для меня никогда не было иной реальности, кроме удовольствия. Моего удовольствия. Я занимал самое крайнее место справа, так, что оно уже смыкалось с крайним слева – с небытием.

Произнеся эти слова, он вновь посмотрел на свои руки, а потом перевел взгляд на руки Бриса, словно сравнивая их.

– Брис, я избрал себе занятие – мучить вас, но на самом деле я один из тех, кто вас любит. Никто не уважает вас и не восхищается вами больше меня. Я преклоняюсь перед вами, я вам завидую – это я-то, кто никогда никем не восхищался и не завидовал никому; меня полностью удовлетворяло быть Фарамондом. Что в вас такого, что вы смогли разлучить меня с самим собой, хуже того – вызвать у меня ненависть к самому себе?

– Мадам, стол накрыт, – прошептала горничная.

Выходя из комнаты, Пиа сделала знак Отону спрятать шкатулку под покрывалом, в волшебном гобеленовом лесу.

После ужина Фарамонд, который расположился на диване, почувствовал, как ему в поясницу упирается что-то твердое, и недовольно поморщился: что за наваждение! Пиа и Брис мастерили для Отона стрелы из золоченой бумаги. Фарамонду очень хотелось, чтобы все увидели, как он достал револьвер из кобуры, чтобы испугались, что он собирается себя убить, и, рыдая, выхватили оружие у него из рук. Но никто об этом даже не подумал. Фарамонд даже уловил во взгляде Отона, который исподтишка наблюдал за ним, но молчал,

удовлетворение, смешанное с нетерпением. «Покончить с собой при полном одобрении собственного сына? – с горечью подумал он. – Отон, ты меня разочаровал!» Он направил ствол револьвера на отражение Бриса в чудесном венецианском зеркале. Брис, в этот момент случайно взглянувший в зеркало, заметил отражение Фарамонда с револьвером в руке, нацеленным на него. Послышался сухой щелчок – и грохот разлетевшихся осколков.

Пиа упала в обморок. Брис сжал пальцами виски, словно и впрямь был ранен. Оказалось, что пуля, пробив старинное стекло немалой толщины, ударилась о металлическую пластину, слегка покорежила ее и, утратив три четверти своей убойной силы, отрикошетила по направлению к Брису, которому слегка оцарапала правый висок, даже не содрав кожу. Тем не менее он был оглушен.

Фарамонд принес свои извинения.

Сбежалась прислуга.

Отон нахмурился.

XIII

На следующую ночь, несмотря на запрет Бриса пускать к нему кого бы то ни было, Эфорб сумел проскользнуть к нему в спальню, под двойным покровительством темноты и Схоластики, которая питала к нему некоторую слабость.

Всем хотелось узнать, кого любит Брис, и Эфорбу – больше всех, даже если он был уверен, что Брис любит его.

Он явился соблазнять своего наставника и, как если бы не собирался притворяться, чувствовал себя свободным – именно потому, что лгал и знал, что лжет, потому, что собирался соблазнять лишь понарошку, ради эксперимента, словно речь шла о ком-то постороннем, неважно о ком. Выдержит ли защитная броня Кардинала? Эфорб собирался испытать ее на прочность. Но сквозь притворство (ведь Эфорб был всего лишь учеником, а Брис – наставником) мало-помалу пробивался голос Искусителя. Кого он надеется обмануть? Изображая страдание – не начнет ли он страдать на самом деле? Притворяясь смятенным – не впадет ли в смятение? Черты его лица исказились, словно кто-то надел на него злобную маску. Кто был

соблазнителем? Кто – соблазняемым? Не подчинялся ли он на самом деле своему сокровенному желанию, которое – он догадывался об этом – таким образом намеревалось его одурачить? Когда его руки делались сообщницами его голоса – как легко они лгали! Слишком легко. Как будто верили, что лгут, как будто им хотелось в это верить. На самом деле они были как первые проблески искренности, или вторые – после взгляда. Сама их манера двигаться уже не лгала. Увлеченный, как ему казалось, одной лишь силой своего притворства, Эфорб поскользнулся на паркете, после чего всё повторял про себя: «Подумать только, этот фат, мой наставник, был уверен, что я у его ног, и хотел, чтобы я так там и остался, – он не попытался помочь мне встать, не упрекнул меня в таком раболепстве и даже ничуть не был удивлен ни моим падением, ни своим триумфом». Однако к этим драматическим переживаниям все же примешивалась легкая усмешка, которую Эфорб так и не смог окончательно стереть: настолько выгодно было для него поддерживать сомнение в своей искренности на первом плане, впереди своих истинных чувств. Но не выдала ли его эта усмешка? Не догадался ли обо всем Кардинал? Эфорб разрывался между боязнью неубедительного изображения нежности и страхом испытать нежность на самом деле, и наконец решил поддаться второму. Если бы сквозь чуть приподнятый уголок вуали своего желания он взглянул на себя в зеркало, в котором отражался Кардинал, то лишь для того, чтобы стереть со своих губ улыбку, которая маскировала его нежность, а если бы улыбнулся еще раз – последний, – то лишь своей нежности, чтобы ободрить ее, дать ей проявиться, отделиться от его

улыбки и расцвести во всей своей чистоте. Он уже довел до самых границ искренности красноречие своего кокетства. И вот, столь превосходно, хотя и недолго, изображая любовь – он что же, влюбился? Серьезность и торжественность, длившиеся всего минуту, уступили место страсти и боли, но поскольку он, хотя испуганный этим, все же нашел в себе смелости посмеяться над своей страстью и болью, только что едва заметными, а в следующий момент уже очевидными для него, – смятение внезапно покинуло его душу. Его тело, ослабевшее, шатающееся, словно одурманенное волшебной отравой, утратившее всякую сдержанность, стыд, сомнения, – сдалось. Эфорб еще успел заметить себя в зеркале раненым и побледневшим, прежде чем рухнул как подкошенный под бременем желания, которое, как ему казалось, он симулирует – словно пойманный в свою собственную ловушку, задыхаясь под вуалью, которую отныне больше не мог поднять, отделившей его от его улыбки.

Кардинал был непобедим, неуязвим. Эфорб оплакивал свое поражение, повергнутый в отчаяние безмолвием и неподвижностью своего наставника, которые были для него более жестоким, безжалостным приговором, чем любые жесты или слова. Брис его не любил. Не поднимая головы, чтобы не встречаться с ним взглядом, Эфорб потащился к двери, но на пороге, когда ему уже казалось, что он овладел собой, он имел слабость расхохотаться. Остаток ночи для него прошел спокойно. Из-за этого смеха он принялся убеждать себя, что играл роль, что изображал кого-то другого. Он притворялся, что притворяется. Ничего же не происходило в нем, в глубинах его души? Лишь

на другой день, в тот самый час, когда он появился перед Брисом накануне, Эфорб, проведя рукой по груди, обнаружил в своей душе рану, столь удачно нанесенную, что он, хотя и остался в живых, был поражен смертельно и пребывал в состоянии, близком к агонии: внезапно он осознал, что раз и навсегда согласен со всеми своими эмоциями прошлой ночи и всей своей жизни. Можно было подумать, он начал по-настоящему испытывать их только в эту минуту: один за другим он с удивлением принимал все свои прошлые поступки именно как свои поступки – он узнавал их сходу, он признавал их за свои. Затем он услышал все свои слова, как если бы начал произносить их только сейчас, с радостью и благодарностью открывая в них в равной мере убежденность и ответственность. Если он, описывая Брису свои привычки и поверяя ему свои откровения, думал, что ни те ни другие не искренни, он заблуждался; теперь он был уверен, что дело было не в недостатке искренности – просто она приходила с некоторым запозданием, или же его слова и поступки немного опережали его самого. Вот теперь слова и поступки наконец воссоединились с ним и со своей собственной искренностью, чтобы он смог наконец увидеть их истинную суть. Теперь он спрашивал себя, не единственно ли по воле случая наши состояния души и их осознание могут совпадать или не совпадать в нашей душе и во времени.

XIV

Несколько дней спустя Эфорб предстал перед Брисом, чтобы объяснить ему, что совершенно не виноват ни в чем произошедшем между ними накануне, поскольку был пьян.

Брис оставался безмолвным, отстраненным, прежним.

– Я пришел сегодня вечером, – добавил молодой человек, – лишь для того, чтобы сделать вам одно признание, которого никто, кроме вас, не достоин.

Эфорб решил вызвать у Бриса приступ ревности и, воспользовавшись этим, выведать у него его тайну.

И он начал рассказ:

– Вы знаете, что два года назад какой-то незнакомец появился на яхте Наталины в день ее свадьбы и с высоты мачты бросился в море. Насколько я понимаю, никто так и не узнал его имени. Так вот, я знаю, кто это был.

– Кто же?

– Я сам.

– Как вы это докажете?

Эфорб протянул Брису колье, которое Наталина в тот день повесила на верхушку мачты как приз. На платиновом фермуаре, заключавшем

в себе жемчужины, были выгравированы герб Кроннфилдов и дата свадьбы одного из их предков королевской крови.

– Это ее я люблю, – произнес Эфорб. – Ее одну.

– Лжец! – воскликнул Брис. – Вы лгали вчера или лжете сейчас? Это колье продал вам один еврей из Роттердама. Я не отрицаю, что именно эти жемчужины раскачивались над морем в день свадьбы Наталины, но я точно знаю, что не вы были тем, кто сорвал их с мачты. Того человека я знаю.

Эфорб покраснел.

– Вы знаете того человека – и вы уверены, что это был не я? Брис, после того, что я вам сказал, ваше утверждение граничит с бесстыдством! Вы осмеливаетесь бросить мне в лицо обвинение во лжи?

– Да – поскольку вчера вы уже лгали мне, пытаясь меня соблазнить, и поскольку я единственный, кто знает того человека и убежден, что это не вы.

– Брис, вы меня оскорбляете – и вы меня любите? Скажите мне, умоляю вас, что вы не уверены, что тот человек – не я. Скажите, что вы мне верите. Мне было бы так приятно, если бы вы признали во мне того человека. Я бы хотел быть единственным человеком на свете, заслуживающим вашего уважения и любви Наталины; это всё, о чем я мечтаю – сделаться таковым или умереть.

– Но как я могу верить вам, Эфорб, если это я был тем самым человеком, которым вы хотите быть? Если я сам два года назад продал одному еврею в Роттердаме вот эти жемчужины, которые вы мне сегодня принесли? Если это я, появившись

обнаженным перед Наталиной, поцеловал край ее платья, а затем сорвал эти жемчужины с облаков и унес их с собой в море?

Эфорб, снова опустившись к ногам Кардинала и обняв его колени, прошептал:

– Значит, это были вы? Но почему же вы так поступили?.. Я как будто всегда знал, что это вы. Я хотел убедиться, что это вы. Это не мог быть никто, кроме вас. Поэтому вами всегда будут восхищаться, а я всегда буду шутом, куртизаном, игрушкой для забавы. Вы забрали себе всё величие. Но сейчас я вырвал у вас вашу тайну. Я сильнее вас, коль скоро мне удалось заставить вас признаться, что это были вы. Отныне я знаю, кого вы любите. Это то, что хотели бы узнать все. Я оказался сильнее всех. Сильнее вас. Теперь и у меня есть свое величие – мне удалось незаметно украсть часть вашего. Вашу тайну. Стало быть, вы любите Наталину?

– С чего вы взяли?

– Но ведь тогда, в тот момент, когда вы целовали край ее платья, вы любили ее безумной любовью?

– Кто знает.

– Тогда почему же вы это сделали?

– Это моя тайна.

– Вы по-прежнему любите только ее?

– Больше нет. Может быть, и никогда не любил.

– И меня вы больше не любите? Но вы любили меня когда-нибудь?

– Нет, Эфорб, я вас никогда не любил и не люблю сейчас. Вы хотели это узнать – теперь вы это знаете.

Эфорб разрыдался.

– Брис, мне так нужно было верить в то, что я вами любим! Я лгал вам вчера и сегодня, чтобы узнать, чтобы убедиться, что вы меня не любите.

Теперь, когда я это знаю, я не жалею о своей лжи, лишь плачусь о вашей любви.

– Стало быть, ты уверен, что ты лгал, а я говорил правду? Ты уверен, что ты не тот человек, которым тебе хотелось предстать, а на самом деле им был я? Отчего-то именно мне всегда верят на слово. Но если я всегда любил только Неосторожность, которая порой предоставляет нам случай изобразить, как мы погибаем ради кого-то другого, – это ведь всё равно, что я никогда никого не любил. Так к кому же ты ревнуешь?

XV

Как-то раз в гостях у Наталины собрались Катрин д'О, Раванн, д'Эристаль и Бариэль, а через некоторое время появились Обюссон и Эфорб.

Обюссон сразу же сел рядом с хозяйкой дома и сказал:

– Сегодня вечером, Наталина, я открою вам великую тайну. Я обошел весь свет, чтобы доставить вам удовольствие, и вот наконец мои усилия увенчались успехом.

– Тогда давайте соберем всех наших друзей, – предложила она. – Эфорб, вы придете?

– Пиа с удовольствием примет ваше приглашение, – сказал Брис. – Фарамонд и я будем ее сопровождать.

К полуночи, в назначенный Кардиналом час, все приглашенные собрались вокруг него. Пиа, сильно взволнованная, теперь была уверена, что именно Наталина была возлюбленной Бриса. Она с трудом сдерживала лихорадочную дрожь.

– Наталина, – заговорил Брис, – вы ведь по-прежнему жаждете узнать имя человека, который в день вашей свадьбы поцеловал край вашего платья и бросился в море?

– Да.

– Так вот, он остался жив. Я его знаю.

– Это невозможно! – прошептала Наталина. – Даже если бы это и было правдой, как я могу вам поверить?

– У меня есть доказательство, – ответил Брис. – Вот оно.

И протянул ей колье, которое Эфорб оставил у него несколько дней назад.

Наталина вздрогнула.

Она узнала жемчужины, фермуар, монограмму.

– И этот человек сейчас здесь, – продолжал Брис, – в стенах вашей гостиной. Он дышит тем же воздухом, что и вы. Он один из нас. Где бы он ни был, он всегда продолжал оставаться в тени Наталины Кроннфилд. Я думаю, вы быстро догадаетесь, кто он; но если нет – на этот случай между ним и мной существует соглашение, что вы никогда не узнаете его имени.

Вокруг Бриса к этому моменту собралась целая толпа, что еще сильнее увеличило замешательство Наталины.

Пиа была уверена, что сейчас Наталина произнесет имя Бриса, или же он сам в конце концов назовет себя.

Наталина, опираясь на руку Бриса, обошла гостиную, ни на кого не глядя, словно глаза у нее были завязаны и она созерцала нечто внутри себя, не видимое остальным; потом заперлась в своем кабинете.

Появившись вновь, она сказала:

– Брис, я решила молчать. Счастью правильной догадки я предпочту свою тайную грезу. Достаточно, если мы оба, этот человек и я, будем знать, что это он; ведь даже если мне об этом неизвестно, я всё равно его знаю. Сейчас я знаю его лучше, чем если бы познакомилась с ним, чем если бы узнала его больше, потому что в его поступке отразилась его душа, осветив его лицо каким-то неземным светом, – я думаю, что больше никогда, что бы ни случилось, я бы не увидела его лицо таким, как в тот миг. Я спрашивала себя о каждом из моих сегодняшних гостей: «Это он?» – и риск совершить оскорбительную ошибку, не узнав того единственного человека, о котором я все время думала, удержал меня от того, чтобы заговорить.

Некто, совершенно растерянный, переводил взгляд с Наталины на Кардинала, словно умоляя их, убедительнее всяких слов, одну – поверить, другого – заставить поверить в то, что это был он; но вот Кардинал поднялся, взял Наталину за руку и подвел ее к Эфорбу.

– Вот он.

– Нет, – отвечала Наталина почти шепотом, так что слышать ее в этот момент могли только Эфорб и Брис. – Ваше преосвященство, я бы никогда не ошиблась, приняв раба за господина.

Эфорб побледнел.

– Что это за ребенок, которого я так ранила насмешкой? – воскликнула Наталина, схватила руки Эфорба в свои и поцеловала его в губы.

Теперь она желала лишь одного – распутать клубок, которым, словно коконом, Брис окружил свою тайну.

В конце концов она пришла к выводу, что Эфорб любил только ее, а Брис любил Эфорба так

сильно, что придумал это «разоблачение», чтобы их сблизить. Она злилась на него за то, что он хотел ее одурачить, но еще больше за то, что ему удалось вызвать у нее интерес к Эфорбу.

Всё в этой сцене было сплошной загадкой для Фарамонда, которому Наталина постоянно расточала улыбки и прочие знаки внимания, как если бы должна была выйти за него замуж буквально завтра, но вместе с тем этот брак не имел ничего общего с браком по любви.

Отведя Наталину на ее место, в углу возле камина, в котором пылали дрова, Брис заговорил:

– Знаете ли вы, Наталина, сколько поэзии кристаллизуется в моей памяти вокруг вас? Вся поэзия моего детства. Когда мне было, кажется, тринадцать, я изо дня в день видел на ночном столике у изголовья кровати моей матери одну и ту же толстую книгу с закладкой-лентой. Я так никогда ее и не прочитал, но ни одна книга из прочитанных мной не оказала на меня такого влияния, ни одной я не был так очарован. Всю свою жизнь я стремился разгадать тайну, заключенную в ее названии: «Невеста белого грифа». Вы не представляете, какой миф я сотворил из истории этой невесты, этого грифа, какими только вымышленными драмами их жизни я не заполнял эту бездну неизвестных страниц, как только у меня появлялось хоть немного свободного времени. И вот, в первый же день нашей встречи, сам не знаю почему, я сразу же подумал: невеста белого грифа – это вы.

– Невеста? – переспросила Наталина. – Обюссон, вы сделали мне убогий подарок. Я не невеста белого грифа. Я – белый гриф.

И в самом деле, Наталина, в своем белом креповом платье с узким стоячим воротничком, в маленькой квадратной шапочке, очень плотно си-

девшей на ее коротких волосах (обычно она надевала ее зимними вечерами), – внезапно испустив хриплый резкий крик и широко взмахнув длинными худыми руками, отчего они взметнулись чуть ли не до потолка, словно крылья, на миг стала похожа на отвратительного жестокого хищника, сходство с которым еще усилил недобрый блеск глаз, озаривший лицо, склоненное меж опущенных плеч.

– А вот моя невеста, – добавила она, нежным и в то же время снисходительным жестом указывая на Эфорба, распростертого у ног Кардинала.

Это вызвало у собравшихся легкие рассеянные улыбки – никто не придал особого значения рассказу Бриса, – и лишь когда гости начали вставать с мест, собираясь прощаться, они заметили, что Эфорб по-прежнему остается неподвижным. Когда к нему подошли, оказалось, что он мертв – умер без единого вскрика, отравившись ядом, хранимым в перстне, который чуть позже при нем нашли.

Когда Наталина приподняла голову Эфорба, его глаза в последний раз чуть приоткрылись – механически, как глаза тех кукол, которые смыкают веки, когда их укладывают спать. По толпе гостей пробежал шепоток ужаса: медики Наталины уже констатировали смерть и даже успели составить официальный отчет.

В этот момент всеобщего смятения Пиа заметила стоящего рядом с Брисом странного незнакомца, чей пристальный взгляд ее смутил. Стройный, утонченный, он был одет в неказистый выцинявший плащ, словно денди, скрывающий какое-то преступление под личиной убожества.

Наталина была удивлена тем, что Брис ничуть не скорбит о смерти Эфорба. Но потом, заметив

складку в углу рта, которая была у него признаком величайшей ярости, поняла, что его бесстрастность была напускной.

Лишь Фарамонд, сам бледный как покойник, думал только о себе, опасаясь за свое имя, блеск которого мог померкнуть в этом злополучном месте. Он не видел, как Пиа, отойдя от него, приблизилась к Кардиналу.

– Брис, этот человек, с которым вы только что разговаривали – не он ли сидел за барной стойкой в тот вечер у Розфельдов? Тот самый авантюрист, близкий к самоубийству?

– Да, это он.

Гости разошлись. Слуги вновь разожгли камин, и Брис с Наталиной всю ночь оставались рядом с неподвижным телом.

Часть вторая

ЛИПСЕ ДУЛЬЕ

– Брис, кто этот человек, которого я заметила рядом с вами, когда обернулась к вам, сразу после смерти Эфорба?

– Один из моих друзей.

– Как так получилось, что вы его мне не представили?

– В тот вечер я представил вам в лучшем случае каждого пятого из приглашенных.

– Да, это так, но тот человек, кажется, вызывал у вас большой интерес. Я хочу сказать, он держался так, словно был вашим близким знакомым. Поэтому мне было бы интересно познакомиться с ним.

– Меня удивляет только одно: как вы не заметили его раньше? Поистине это самое удивительное существо из всех, кто был у вас в тот вечер, и кого вы раньше никогда не видели.

– Полагаю, вы собираетесь мне сказать, что это он некогда поцеловал мою вуаль?

– Кто знает? Я не скажу вам больше ни слова об этом. Предположим, он оказался здесь случайно, и я решил его поддержать. В любом случае, Наталина, я бы попросил вас воздержаться от шуток.

– По крайне мере, расскажите мне, кто он. Я, пожалуй, прилягу. С Эфорбом ничего не случится. Пусть положат его тело на носилки посреди кабинета. Мы будем видеть его отсюда. Зажгите только две свечи в изголовье. Цветов не нужно, у меня мигрень. Что же, Брис, придвигайте поближе кресло и рассказывайте.

– Не буду скрывать от вас, Наталина, что этот человек интересен мне больше всех, с кем я был когда-либо знаком. Впрочем, те откровения о нем, которыми я с вами собираюсь поделиться, будут столь странны и необычны, что в конце концов мы с вами оба, возможно, усомнимся в его существовании или, по крайней мере, в его «человеческой сущности», как сказали бы философы.

– Как вы с ним познакомились?

– Сейчас я всё вам расскажу.

– Самое удивительное для меня в нем – это его способность появляться и исчезать, как по волшебству. Никогда не знаешь, в какой момент он появится рядом с вами или вас покинет, но я охотно верю, что всякий раз ни то ни другое не случайно.

Я познакомился с ним в Вероне, четыре года тому назад. Я сидел в верхнем ряду «Арены», на последней из уцелевших ступенек амфитеатра, и вдруг заметил молодого человека, который наблюдал за мной. Я продолжал медитировать, не обращая на него внимания. Однако затем, делая заметки в блокноте, я вдруг поймал себя на том, что делаю набросок его портрета. Я пытался рисовать всего три раза в своей жизни, и каждый раз стремился запечатлеть одно и то же лицо.

Вскоре я спустился вниз. У подножия лестницы я заметил, что он идет за мной. Будет ли он преследовать меня дальше? Я свернул к площади Викто-

ра-Эммануила. Он по-прежнему шел за мной, сохраняя почтительную дистанцию. Наконец, когда мне потребовалось узнать дорогу, он приблизился и предложил отвести меня в сад Джусти, который я искал. Я без колебаний взял его в проводники. Мы шли бок о бок среди вековых тисов и кипарисов. Внезапно мой гид, перечислявший мне имена титулованных особ, побывавших в этом саду, остановился и, повернувшись ко мне, добавил: «Я лично знал их всех. По моему настоянию они и приходили в этот сад. После они все присылали мне почтовые открытки, в которых называли своим другом». С этими словами он вытащил из кармана связку посланий, подписанных именами знатнейших особ. «Вы тоже, – сказал он, – будете присылать мне открытки, более того, будете писать мне письма, и более того, никогда меня не забудете. Вы будете думать только обо мне. Тем не менее, как видите, я очень беден: у меня прохудились ботинки, и я не менял белья уже месяц. Я Бедняк по призванию. (Он произнес «бедняк» словно с большой буквы – с той особой почтительностью, с которой некоторые мистики произносят имя Бога.) Один только вид денег вызывает у меня отвращение, и я сразу же трачу всё заработанное, ненадолго сохраняя лишь немногое, чтобы купить новую одежду взамен изношенной». Я был слегка испуган, особенно когда он добавил: «Итак, я ждал только вас». Он был очень похож на изображения Франциска Ассизского: тот же оливковый цвет лица, выступающие скулы, редкая кудрявая бородка, ни разу не тронутая бритвой, почти того же цвета, что и кожа, с легким золотистым оттенком. Кожа была столь тонкой, что едва закрывала скелет – казалось, он просвечи-

вает сквозь нее, отчего мой новый знакомец походил на статую из слоновой кости – твердую, несокрушимую, застывшую в своем экстатическом оцепенении на грани радости и скорби. Любые, даже самые слабые его жесты создавали вокруг него атмосферу величайшего волнения и в то же время абсолютного, безмятежного спокойствия, в которой способно существовать лишь ничтожное меньшинство обитателей нашего мира, и прежде всего мистики, способные сохранять это хрупкое равновесие двух противоположных состояний, которое нас ужасает. Казалось, что в его глазах нет хрусталиков.

– Сад Джусти – мое владение, – продолжал он. – Здесь я завожу все свои знакомства. Я – его единственный официальный гид, и сюда я привлекаю посетителей со всех концов города. Многие меня опасаются. Но вы боитесь меньше, чем другие. Когда мы доходим до грота Сатурна, они все удивляются, почему я их не граблю, – ведь мы одни, отделенные целым лесом от остального города, а у меня вид бродяги. Но почему я должен брать с них меньше того, что собираетесь дать мне вы – и от чего я сразу же избавлюсь, – за столь малую часть моего сада, за то, что я ждал и принимал вас здесь, и за роскошь воспоминания обо мне?

Кардинал рассказывал всё это с истинно княжеской беспечностью, порой неожиданно останавливаясь, чтобы, как простой мальчик из церковного хора, снять нагар со свечей, горевших в изголовье смертного ложа Эфорба.

– Когда я несколько устал от этих странных речей, – продолжал Брис немного погодя, – я попросил незнакомца довести меня до городского музея, куда вошел один; у меня был свой план. Я купил довольно редкую брошюру о Тициане, сразу же за нее заплатил и, пока музейный смотритель, увенчанный форменной фуражкой, искал другую, еще более редкую брошюру о Веронезе, намереваясь мне ее всучить, я пролез через низко расположенное окно, выходящее на узкую улочку, чтобы таким образом ускользнуть от моего спутника. Но этот последний уже стоял с другой стороны окна и протягивал мне руку, чтобы помочь спуститься. Невозможно было скрыться от него. Я бы охотно устремился и в геенну, чтобы от него отвязаться, если бы не был уверен, что он окажется первым, кого я там увижу.

Однако теперь мой гид изменил свою манеру поведения: из навязчивого и болтливого он сделался скромен и молчалив. Тем не менее все прохожие, попадавшиеся нам навстречу, смотрели на нас так, словно не могли поверить, что иностранец, столь прилично одетый и порядочный на вид, как я, мог появиться на людях в обществе подобного прощелыги. Но, по правде говоря, если бы я проследил за поступательным движением своих чувств, мне бы пришлось признать, что мой спутник мне вовсе не безразличен, и что я попытался скрыться от него именно потому, что он меня заинтересовал, отдалиться, потому что он меня притягивал. Я решил пригласить его на ужин, теперь уже боясь остаться без него. Он поблагодарил меня, отказался и ушел. Я смотрел ему вслед; он прошел вместе со мной вдоль набережной Адид-

же и сейчас исчез возле моста. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким одиноким, как в ту минуту, когда он скрылся из вида. По сути, никогда до этого момента я и не был одинок. Я понял, что со мной должно вот-вот произойти нечто неординарное, что рамки моей прежней жизни сломаны, что я вхожу в трагическую фазу своего существования. Кто был этот человек?

На следующий день я повсюду разыскивал его, чтобы, встретив, начать избегать, – но, не найдя, почувствовал себя безутешным и еще более одиноким, чем накануне. Сад Джусти без него казался пустым, как будто без моего проводника я не мог увидеть этот пейзаж во всей его красоте, или даже просто разглядеть в нем хоть что-то; и тем не менее это было единственное место в мире, где мне еще доставляло удовольствие находиться, потому что именно здесь у меня было больше всего шансов вновь встретить того единственного человека, который отныне для меня существовал, как будто весь остальной мир в один миг обезлюдел, или, по крайней мере, нигде больше воспоминание о незнакомце не было для меня таким реальным, почти осязаемым, как здесь. До вечера я успел расспросить о нем множество людей, но всякий раз, когда я его описывал, они, казалось, меня не понимали – они улыбались так, словно я говорил на непонятном или вовсе бессмысленном языке.

Наконец, не отыскав никаких его следов в последующие два дня, я решил уехать из Вероны. Но едва лишь я ступил на подножку поезда, как почувствовал сильную руку на моем плече.

– Я уверен, – произнес мой загадочный спутник, – что вы уезжаете, не увидев главного: фресок в соборе святого Петра-мученика и святой

Анастасии. Нужно остаться! И потом, вы еще не видели ни Джульетты, ни Ромео. Я вас с ними познакомлю.

И я остался.

II

– Невозможно выразить радость, охватившую меня в тот момент. Я будто в один миг обрел утраченные прежде здоровье и все свои пять чувств – ко мне вернулись речь, зрение, слух. Я наконец слышал и видел то единственное, что был рад слышать и видеть. И вот началась наша долгая ночная прогулка – порой мне казалось, что она продолжалась сто лет.

– Меня зовут Липсе Дулье, – сказал он мне с самого начала. – Может быть, вы слышали это имя? Не стану утверждать, что я знаменит, но, по крайней мере, заслуживаю быть таковым. Я автор множества изобретений, в той или иной степени значимых. Порой я продаю свои «секреты», хотя и не способен определить их истинную стоимость, но, даже если я утрачиваю свои права на них, они никуда от меня не уходят; даже если я сам остаюсь единственным «секретом», который не продается, – этого достаточно». И тут же он изложил мне свою теорию живописи, довольно занимательную.

– Истинный художник, – сказал он, – не копирует мир как таковой, он и не сумел бы в точности этого сделать; но точно так же он не создает

несуществующий мир – он открывает истинный мир, который находится в нем самом и ключом к которому он является. Тот, кто сумел разглядеть подлинный шедевр, входит в этот мир – новый, необычный, но реальный, в котором он с легкостью перемещается, дышит, трогает всё руками. Пространство и глубина шедевра, его четыре измерения, его объем и протяженность бесконечны. И он в той же мере является музыкой, литературой, что и живописью.

С этими словами он ввел меня во двор, в центре которого восседала молодая прекрасная женщина, словно королева в своих владениях, а на колени ей склонил голову единорог, едва касаясь рогом ее сердца. Вокруг нас собралось множество удивительных зверей и птиц, которые лизали нам руки или слегка поклевывали их; некоторые чем-то напоминали собак, медведей, тигров, но в целом не были похожи ни на кого из привычных нам животных, отличаясь от них размерами, очертаниями, видом и цветом шерсти. От каждого из этих монстров исходила нежность с пленительным оттенком природной дикости; каждый был окружен легким светящимся ореолом, на котором огненными буквами проступали имена тех добродетелей, которые они собой воплощали. Двор был окружен архитектурой самой разнообразной и вместе с тем гармоничной – это было смешение всех воспоминаний, всех сожалений об утраченном и всех надежд на будущее, сколько их есть в мире: колодец Иакова, его же лестница, алтарь Аарона, башни, портики с ионическими колоннами, кенотафы, розово-черные этрусские вазы, музыкальные инструменты, оружие. «Это обитель Мудрости, – сказал мне Липсе. – Даже самое малое из наших достижений ее обогащает».

Затем он распахнул передо мной дверь церкви в глубине двора. Там собралась плотная толпа, обступившая великолепного белого коня – его роскошный круп, который я, кажется, уже видел в центре какого-то барельефа, занимал две трети представшей мне сцены. На нем были богатая упряжь и седло; конюший держал стремя. Очевидно, готовился отъезд, и это были торжественные проводы – играла музыка, взлетали разноцветные воздушные шары. Липсе сделал движение рукой, словно раздвигая горизонт – и вдалеке, справа от меня, появилось море. «Взгляни вон туда», – сказал он мне, и прямо на моих глазах возник золотой город, а над морем, колышущимся, словно занавес, проступили неподвижные лица, увенчанные тюрбанами, изможденные и блестящие от пота, и над ними – гигантская виселица, раскачивающая, словно дерево – гигантскими плодами, сотнями мертвых тел высоко в небесах. «Это месье Сен-Жорж», – сказал мне Липсе, и я испытал величайшее потрясение, взглянув на это лицо из иного мира, пылающее гневом и спокойное одновременно. «А это – дочь короля». Я приветствовал и ее, после грозного ангела. «Они уже очень долго путешествуют. Хотите присоединиться к ним вместе со мной? Ставьте ногу в стремя». Я так и сделал и оказался в седле. Мой спутник уже сидел передо мной за спинами наших предводителей. Я почувствовал, как затрепетал подо мной массивный белый круп небесного скакуна. Ветер ударил мне в лицо, и в один миг окружающий пейзаж изменился. Мы миновали группу каидов стремительным галопом, и несколько капель крови с виселицы упали на нас, словно брызги крестильной воды. И вот мы оказались в золотом го-

роде. Площади, окруженные зубчатыми стенами, сменялись крытыми колоннадами. Мы проносились сквозь увитые зеленью каменные коридоры и вырывались из них внезапно, как циклон; мы пересекали ониксовые мосты, инкрустированные бриллиантами, и широкие перламутровые реки, струящиеся вдоль набережных, украшенных сверкающими статуями ангелов, перед которыми мы почтительно склоняли головы. И вдруг нас поглотил рот огромного бронзового колосса, даже одно плечо которого мы смогли бы обойти разве что за несколько часов, и мы скрылись в бесчисленных галереях из прозрачного разноцветного стекла, красных, голубых, фиолетовых, желтых, которые были артериями и венами, – мы плыли по ним в гондолах, влекомых лебедями и гигантскими змеями. Светлячки и светящиеся рыбы сопровождали нас, словно почетный эскорт, – воздушные создания сквозь леса, водяные – вдоль рек, трепеща своими легкими или жабрами и освещая нам путь к святилищу сердца – огромного просвечивающего розовым рубина величиной с пагоду. Но вот перед нами открылись нескончаемые сумрачные коридоры кишечника, усеянные изумрудами экскрементов и устланные густой пахучей растительностью, в которой обитали безымянные монстры. Наш скакун, которого мы оставили снаружи, в расселине губной складки колосса, уже ждал нас у выхода, в сиянии лучей гигантского золотого ануса.

– Это еще не самое страшное, мы только приближаемся, – сказал мне Липсе. – Перед нами тропа Греха.

Ночь сделалась еще чернее. Пробило полночь. Дорога уходила вверх по склону холма. В каждом из стоящих вдоль нее невысоких домов была ши-

роко распахнута дверь, ведущая в единственную комнату, и в каждой комнате на столе горела лампа, бросая мимолетные отблески на всякий раз бесстыдно обнаженное плечо женщины, сидящей снаружи у порога. Всего этих домиков было десятка три, рассеянных по обе стороны почти идеально прямой тропинки, в ее конце едва мерцал газовый фонарь, в неверном свете которого виднелось придорожное распятие. Слева вдалеке, словно на таком же расстоянии от земного мира, как преисподняя, можно было различить у подножия горы темный треугольный провал в земле – вершина этого треугольника упиралась в горизонт. Липсе слегка подтолкнул меня в ту сторону.

Мы увидели множество мужчин, стоящих тесными рядами вплотную друг к другу, лицом к стене. Одни были одеты, другие – обнажены от пояса до колен. Позы их были не столько непристойными, сколько жалкими. Липсе указал мне на то, что их ступни, светящиеся, как глубоководные морские рыбы, пустили корни в землю, а их волосы, быстрее растущие в постоянном полусне, в котором они пребывают, вздымаются вверх и, достигнув стен, начинают стелиться по ним, как лишайник или мох; по этим прядям непрерывно переползал от одного к другому омерзительный гигантский червь. Те, с кем мы случайно встречались взглядом, склоняясь над краем провала к массе отвратительных тел, казались нам птицами, начисто ощипанными и утратившими крылья, неподвижными и едва живыми, прикованными к месту где-то на сыром холодном берегу. Их руки превратились в водоросли, зеленоватые или бе-

лые, как стебли латука, которые, поднимаясь, исчезали во тьме, неспособные защититься от кроваво-красного грибка, постепенно пожирающего их, и от синих нитей плесени, тянущихся по ним подобно струйкам зараженной воды.

С высоты Липсе указал мне на крытый фургончик, утопающий в полевых цветах, полог которого был слегка отодвинут, и в образовавшемся просвете мерцал огонек сигареты, то угасая, то снова разгораясь, в ритме прерывистого дыхания огромного моряка, млевшего от невидимых ласк.

– Посмотри в другую сторону, – сказал Липсе. Справа, с другой стороны провала, сияло волшебное сокровище – Город. Мы снова начали спускаться, и теперь невнятные голоса мужчин, обитающих, подобно мокрицам, в земляном провале, слились в глухой ровный гул, похожий на тот, что издает муха в захлопнувшемся рту мертвеца.

Вскоре Липсе снова привел меня к женщинам, которых мы уже видели сидящими у порогов своих домов; их обнаженные плечи были освещены слабым светом ночных ламп. У них была одинаковая манера держаться, хотя внешне они не были похожи. Ни одна не сказала нам ни единого слова. Когда мы проходили мимо, одна распахнула плащ, чтобы продемонстрировать нам свое тело, другая, наоборот, плотнее запахнулась. Третья предстала на пороге полностью обнаженной, и ее тень, которую лампа за ее спиной отбрасывала на землю у двери, в два раза больше нее, взволновала нас больше, чем она сама. Еще одна, словно поленившись дойти до кровати, заснула прямо поперек порога: ее голова покоилась на земле, а тело на-

поминало расстеленную дорожку из мягкой шерсти, словно приглашающую нас войти в дом, где ее раскинутые на полу блестящие ноги, будто крылья осы, едва заметно трепетали и шелестели, отсеченные от тела кинжалом Ночи. Какой-то маленький человечек, сжимая одной рукой ее промежность, а другой – груди, предлагал их нам с обреченным безразличием старого торговца фруктами, тянущего за собой нагруженную тележку.

Затем перед нами предстала лестница в сотню ступенек, окаймленная с двух сторон благоухающими липами, на которых ни разу не шелохнулся ни один листок. У подножия каждой липы восседал на троне громадный белый червь в тюрбане и красной либо златотканой мантии – несмотря на все эти королевские атрибуты, ни на секунду нельзя было обмануться, приняв их за людей. Ленивые как боги, горделивые как раджи, они возвышались над мириадами своих подданных – у одних были прекрасные лица, венчавшие тела, как язычок пламени увенчивает свечу, у других не было ни голов, ни конечностей, и они с торжественной медлительностью ползали вокруг собственной тени, границу которой не могли пересечь. Однако тела у всех были мягкими и белыми, и не было таких ухищрений, к которым бы они не прибегали, чтобы продемонстрировать их – то и дело кто-то задирал рубашку, смеясь над своим падением или восторгаясь своим совершенством.

Наш конь ждал нас у решетчатой ограды.

– Сейчас он отвезет нас к Джульетте, – сказал мой проводник.

И конь одним прыжком перенес нас к небольшому особняку пятнадцатого века. Мы приблизились к низкой двери, и она распахнулась сама собой. Внутри возле аналоя сидела женщина, перебирая четки. Липсе сказал мне:

– Вы доставите мне удовольствие, если будете делать здесь всё, что вам заблагорассудится – дом полностью в вашем распоряжении, со всеми своими комнатами, мебелью, людьми. Бродите повсюду, у меня вы всё равно что у себя. А я останусь с Джульеттой. Завтра вы найдете меня на этом самом месте.

Я вошел в первый зал. Повсюду были руки – на этажерках, диванных подушках, коврах; одни были изображены на стенах, другие изваяны из мрамора и различных видов камня – всех форм и размеров, на полу, на потолке… Среди них были короткие и мясистые, были, напротив, неестественно длинные и тонкие; руки укротителей и предателей, великанш и куртизанок; рука Тартюфа и рука Эльмиры; руки святых, отмеченные стигматами. Некоторые из них виднелись из открытых люков – словно кто-то хотел выбраться оттуда наружу. В какой-то момент показалось, что они все ожили: все одновременно встрепенулись и стиснули пальцы. Меня охватил ужас – я увидел, как по их жилам струится таинственная кровь, излучающая сквозь кожу мягкий свет. Затем они вновь расслабились и томно вытянулись; даже мне передалась их сонливость.

Я прошел в соседнюю комнату, где передо мной предстала целая выставка торсов, мужских и женских, всех возрастов и рас, и все – совершенной красоты. Я шел через этот лес тел, человеческих или сверхчеловеческих, чувствуя, как всё сильнее

кружится голова – особенно когда они все одновременно начали вращаться вокруг своей оси, словно опоры ярмарочной карусели, начинающие кружиться всякий раз, когда слышат музыку или ржание невидимой лошади святого Георгия, которая является и душой всех деревянных лошадок на свете.

Я поспешил миновать этот зал, но вот передо мной открылся новый – столь огромный, что я не мог припомнить ему подобного, – заполненный лицами, черепами, целыми головами: звериными, обезьяньими, человеческими, ангельскими, архангельскими, демоническими – всех эпох и всех размеров, в том числе головами циклопов и Эвменид.

В этот момент Липсе приблизился ко мне, войдя через потайную дверь, и сказал с едва уловимой иронией:

– Вот, посмотрите на всё то, что когда-то считало себя головами. В этом пандемониуме Бог собрал копии всего, что когда-либо было Им сотворено. Если вы пойдете направо, то увидите целые лимбы, заполненные лицами – всеми, какие только вообще возможны; это совсем не то, что здесь. Теми руками, что вы видели, вы не смогли бы открыть ни одну дверь; вы видели всего лишь некую гардеробную рук, заурядных, почти как перчатки. Чуть позже я покажу вам настоящие руки – Орфея и Клеопатры, Будды, Иисуса и Девы Марии. А есть еще и ноги.

И вот я выскользнул в коридор, который по ширине и высоте был как будто специально подогнан мне по росту, а оттуда, пройдя по лестнице, очертаниями напоминающей луковицу тюльпана, двинулся по натертому воском паркету, свер-

кающему, как фальшивое зеркало, через зал, на сей раз полный всевозможных ног, обнаженных и словно одушевленных, которые свободно перемещались и надо мной, и вокруг меня в атмосфере легких, просвечивающих облаков, стелящихся здесь и там, – подобно пловцам в прозрачной воде. Их сопровождали руки, видимо, добровольно решившие стать их спутницами.

Липсе, который следовал за мной, сказал:

– Вы можете выбрать любые детали и составить из них идеал – коль скоро вам предоставлен самый великолепный выбор из всех возможных. Вся гамма элементов уже присутствует в вашем сердце.

Однако на следующее утро я проснулся в узкой кровати, между незнакомыми мне мужчиной и женщиной. Они еще спали. Постель была грязной, лица спящих неподвижно застыли, словно у покойников. Я ощупал их руки – они были холодными. Глаза еще были окружены ореолом былой красоты, но в уголках рта залегли складки порока и бесчестья.

Женщина пробудилась первой, и ничуть не была удивлена, увидев меня. Я спросил, как ее имя. «У меня нет имени», – отвечала она. Ее дыхание было зловонным, но все ее жесты словно расточали дивный бальзамический аромат. Мужчина проснулся почти сразу вслед за ней. «У меня нет имени!» – бросил он мне в лицо, будто услышал во сне мой вопрос, обращенный к его спутнице, но промедлил с ответом – только для того, чтобы выразить мне свое презрение. Однако под покровом его плоти, напоминающей облако или же до-

спехи, сотканные из тонкого муслина или тумана, мне предстал его скелет, произнесший: «Прошу нас извинить – в доме была всего одна кровать». И, после долгой паузы, поскольку я хранил молчание, он продолжал: «Хотите знать, кто мы – она и я? Мы – те, кого вы избрали прошлой ночью. Среди огромного количества лиц и рук вы на один миг отличили нас от всех остальных созданий земли и неба. Это заставляет вас краснеть сегодня утром? Но мы всё равно вам благодарны. Не за то, конечно, что вы из-за нас краснеете, а за то, что вы нас выбрали, и мы никогда вас не забудем, потому что до сих пор никто еще не был взволнован при виде нас, при виде наших жалких тел, – только вы и, может быть, еще Господь Бог. Поэтому было бы справедливо, если бы вы уделили нам всего минуту своего времени, и за эту минуту мы предоставили бы вам возможность увидеть в нас достойные вашего восхищения лица Клеопатры и Орфея, живот Будды, священные ступни Христа и руки Девы Марии, его матери».

Я торопливо оделся и направился к двери. Однако, прежде чем уйти, я не преминул спросить их, знают ли они, кто такой Липсе Дулье и где он сейчас. Но, судя по всему, они не понимали, о ком я говорю.

Мне понадобилось спуститься всего на одну каменную ступеньку, чтобы оказаться на одной из узких улочек Вероны. С покрытого плесенью балкона склонилась какая-то женщина, чтобы лучше меня разглядеть, и я догадался, что она смеется надо мной. Проходя мимо нее, я приостановился и спросил: «Что это за дом?» – указывая на тот, откуда только что вышел. Она с деланным видом пожала плечами. На красном фонаре виднелась надпись: «Ромео и Джульетта».

Я уехал в тот же вечер.

Однако, уже когда поезд тронулся, я заметил на платформе, в стороне от остальных, явно обескураженную фигуру – это был Липсе; в последний момент он будто с вызовом обратил свое лицо ко мне, и я разглядел слезу, неподвижно застывшую в пламени его взгляда.

Свечи догорели. Кардинал поднялся с места. Передвигаясь в темноте, он задел окоченевшее тело Эфорба – и, словно только в этот момент осознав его смерть, рухнул на колени. Наталина еще долго слышала его рыдания и не сказала ему ни слова до самого утра. Перед рассветом на другом конце галереи появилась луна, словно огненный шар, окутанный чернотой.

Брис вернулся на место возле своей подруги. Тогда Наталина сказала:

– Я не знаю, что думать об этой истории. Вы посмеялись надо мной? Или решили меня позабавить всеми этими фантастическими деталями, чтобы я, отвлекшись на них, не увидела главного?

III

– Год спустя, – продолжал Брис, – я проводил время на отдыхе. Эфорб остановился у своих друзей в Перудже. После моего возвращения из короткой поездки во Францию мне приходилось видеться с ним всего дважды в неделю – я обосновался в Орвието и жил там затворником, абсолютно один. Я поселился в отеле, кажется, единственном в этом месте – слева от папского дворца. Мой поезд прибыл в одиннадцать утра, и вскоре я уже сидел в ресторане отеля. И вот я увидел сидевшего напротив, за таким же, как у меня, столиком на одного, – человека, черты лица которого показались мне смутно знакомыми: можно сказать, это были мои собственные черты, но при всём общем сходстве самая их суть разительно отличалась. Этот человек, судя по всему, столь же сильно заинтересовался мной, как я – им. Вскоре мне показалось, что я узнал его – вплоть до его непромокаемого плаща, который, как я еще раньше с некоторым удивлением отметил, он не снял прежде чем сесть за стол. По мере того, как я изучал его лицо, оно представало мне всё более значимым, и наконец я второй раз в своей жизни раскрыл альбом, чтобы его зарисовать. Тогда его внима-

тельный взгляд сделался таким сияющим, что я даже на расстоянии ощутил его теплоту, а затем словно бы раскаленный наконечник невидимого копья пронзил мне сердце и ожег руки. В конце концов я закрыл глаза, боясь, что они больше не смогут оторваться от него, но всё равно ощущал с почти болезненной остротой взгляд этого человека. Я упрекал себя в трусости, мешающей мне перебороть себя и взглянуть на него – тем самым победив его тоже. Мой набросок с самого начала показался мне завораживающим. Неужели он так и останется незавершенным? И вот я решился. Лицо, озаренное пламенем взгляда, становилось тонким, узким, полупрозрачным и неуловимо удлинялось, уже само становясь похожим на язык пламени; невольно возникало опасение, что в конце концов оно окажется недостаточно плотным, чтобы по-прежнему соединяться с телом. И вот оно и в самом деле утратило свою пугающую неподвижность и, отделившись от тела, взмыло в воздух и поплыло по залу. Оставшийся без головы человек последовал за ним, воздевая руки, почти бесплотные, словно лилии. Я тоже поднялся. Он явно направлялся ко мне. Сначала я подумал, что он на меня сердится. Но нет, его лицо мне улыбнулось, хотя эта улыбка не была нежной, скорее, слегка ядовитой – что меня устраивало даже больше. «Мы ведь с вами уже встречались, не правда ли, месье?» – спросило меня лицо, парящее над телом, словно чайка над мачтой корабля. «Да, – отвечал я, – кажется, в Вероне, в саду Джусти?» Однако я не смог бы со всей уверенностью признать в жестах и голосе моего собеседника жесты и голос Липсе Дулье, хотя своей несколько скованной манерой держаться он сильно его напоминал.

Мое замешательство было вызвано еще и тем, что я помнил облик Липсе только в общих чертах и сейчас заново открывал его в новоявленном виде: лицо его было более бледным, истощенным, заострившимся и менее человеческим, чем во время нашей первой встречи, когда я увидел его справа от себя; едва пробивающаяся бородка исчезла, и ярко-алый рот казался открытой раной на мертвенно-бледной коже – но теперь он смеялся, тогда как Липсе, которого я видел в последний раз, плакал. «Долго вы пробудете в Орвието?» Этот заурядный вопрос был задан самым обыденным тоном, и у меня больше не оставалось сомнений, что этот человек меня знает, – хотя, с другой стороны, знает недостаточно хорошо. Я даже был уверен, что мы с ним жили какое-то время вместе, в странной близости, где-то далеко отсюда. «Вам уже доводилось здесь бывать? – продолжал он. – Нет? О, тогда я покажу вам местный праздник! Весь город взбирается на свою крепостную башню, на самый верх, по винтовой лестнице, вместе с процессией ослов, которые везут бурдюки с питьевой водой. Когда вы распахнете последнюю дверь, откуда откроется вид на городскую площадь, вы не поверите своим глазам: вам, добиравшемуся до башни по узкой темной улочке, предстанет зрелище, которое может сравниться лишь с выражением вашего лица, когда вы его увидите. Вы будете ослеплены, и я удивлюсь, если вы не преклоните колени перед этим белым мрамором, переливающимся на солнце, словно атлас, из которого построено здание само по себе великолепное, и к тому же увиденное вами с вершины, на которую когда-то вереницы ослов доставляли каждый его камень, один за другим. Строгие фасады французских соборов

даже отдаленно не напоминают буйства здешних архитектурных красот – таких, как эти роскошные каменные завитки, схожие с заглавными буквами в старинных королевских требниках, окруженными цветами, фруктами и фантастическими существами, которые встречают нас, сияя золотом и многоцветьем красок, в начале каждого псалма. Внутри вы увидите, среди нагих бойскаутов и других самых лучших образчиков обнаженной натуры, забрызганный кровью антиминс, который я прикажу извлечь ради вас из резной серебряной дароносицы размером с башню». И вот мы оказались перед той самой дароносицей. Обернувшись, я увидел, как мой странный знакомый спускается ко мне с небес преисподней – обнаженный, крылатый, неся на спине женщину. «Это Джульетта, – сказал он мне, – а я – Князь Тьмы».

Но в реальности я в эту самую минуту подносил к губам остатки своего десерта, а удивленный официант, слегка касаясь моего плеча, в третий раз повторял, что меня ждет вызванный мною автомобиль до Перуджи. Незнакомец тем временем всё так же неподвижно сидел напротив меня. В этот момент я заметил, что в его глазах нет хрусталиков – этим загадочным явлением я был поражен и раньше. Теперь у меня не осталось сомнений, что передо мной – Липсе Дулье. «Долго вы пробудете в Орвието?» – спросил я его, проходя мимо. Липсе, казалось, очнулся от глубокого забытья. Он порывисто схватил меня за руку: «Мне очень жаль, но сейчас я должен уехать. Однако я дам вам адрес моей сестры – она больна и находится на излечении в монастыре францисканок, неподалеку отсюда. Они смотрят на нее как на святую. Может

быть, вы станете свидетелем одного из ее видений и она скажет вам нечто о вас самих, что может оказаться вам полезным».

Я ощутил невероятную тоску при мысли о том, что этот человек, столь неожиданным и странным образом встреченный мною снова, в очередной раз оставляет меня одного. Набросав несколько слов на почтовой открытке, он протянул ее мне, поднялся с места и сказал: «Пройдемся немного по площади, а потом проводите меня на вокзал». Всё происходило как в моем сне.

На следующий же день я без промедления отправился в монастырь францисканок.

У Липсе там были две небольшие комнаты, которые обитательницы монастыря мне показали. Монашеская община жила почти исключительно на его пожертвования – отсюда и эта крайняя предупредительность по отношению к нему.

Мне рассказали, что он проводит здесь много времени возле своей сестры, которая вот уже несколько месяцев не встает с постели.

Я спросил, можно ли мне ее увидеть.

Мне ответили, что с этим могут быть сложности. Но наконец я все же получил разрешение.

Сестра Беатриче занимала крошечную келью, выходящую окнами в сад. У ее изголовья всегда стояли букеты лилий и аронника. Мне сказали, что она пребывает во власти непрерывных видений, которые описывает очень подробно, с огромным количеством невероятных деталей, – речь идет о Чистилище и Рае.

– Она всегда говорит так, словно разговаривает сама с собой или со своим братом Липсе. Когда ее бред становится особенно насыщенным, одна

из наших послушниц записывает ее слова в тетрадь, которую мы затем отсылаем Липсе.

Однако, после того как экзальтация сестры Беатриче ослабевает, порой ей случается сказать вам что-то важное о том, что происходит в действительности, на уровне ее чувств – и ваших. Некоторые из ее откровений, которые передавала мне сестра-привратница, свидетельствуют о весьма утонченной проницательности.

Едва увидев ее, я понял, отчего нынешний Липсе так сильно отличается от того, которого я встретил год назад в Вероне. Должно быть, его сестра оказала на него исцеляющее влияние, которое его просветлило – он в буквальном смысле стал почти прозрачным; теперь его лицо, чудесным образом излучающее свет, хотя продолжало оставаться у меня перед глазами и по-прежнему завораживало, больше не удивляло меня.

В первый раз я вошел в келью сестры Беатриче в разгар дня – солнце палило вовсю, но плотная завеса вьющихся роз, почти скрывающая окно, давала тень и прохладу. Беатриче шептала, словно на ухо кому-то невидимому, – может быть, Липсе, – что самой большой опасностью в духовной жизни всегда было принять ангела за самого Бога; что опасности мистических откровений ни в чем не уступают опасностям чувственной любви; что нужно только «не останавливаться», но что соблазн, который испытывают «небесные создания», гораздо более сильный, чем у обитателей земного мира; что сил у души, освободившейся от смертного греха, многократно больше, чем у души, которая по-прежнему вовлечена в него или склоняется к нему, – но битва всегда одна и та же.

– В сущности, никому не запрещено, – говорила она, – да и невозможно ничего запретить сво-

бодному существу, если оно само выбрало свою участь, – любить ангела и оставаться рядом с ним навечно; но от того, чтобы пребывать рядом с херувимом, любить херувима, человек воздержится и сам; точно так же он откажется от встречи с серафимом и от любви к серафиму. Но истинное сокровище превыше всего, и тот, кто остановится на пути, никогда его не найдет.

– Этой ночью, – продолжала она, на сей раз впервые обращаясь именно ко мне и только ко мне одному, – я встретила создание неизвестного мне вида, которое долго удерживало меня рядом с собой. – У него было четыре голубых крыла, но казалось, они не нужны ему для полета. Лицо его было серьезным и торжественным, подобным тем, что видишь в облаках летними вечерами, когда небо ясное, и призрачные фигуры видны над вершинами гор, на горизонте, в той стороне, куда уходит день. У него на коленях, поверх скрещенных ног, лежала раскрытая книга, которую он читал.

И вот он прочитал мне вслух: «Iter facite ei qui ascendit super occasum[1]».

Я сидела у его ног, и он учил меня, что каждое слово в Библии – это свойство или душа ангела.

Он сказал мне, что и сам он, по сути, – слово, которое он несет на своих коленях, на своих губах, в глазах и ушах.

Он сказал, что я могу остаться возле него и стать одним из бесчисленных камней дороги, по которой шествуют те, кто поднимается к закату; или же я могу, если у меня есть на то силы и желание, двигаться всё дальше, всё ближе к вершинам.

---

1 Превозносите шествующего на небесах *(лат.)* – Псалтирь, 67:5.

Глаза этого ангела были столь притягательны, его печаль и неподвижность – столь глубоки, что я осталась бы рядом с ним из любви к нему, если бы не любила себя и Бога достаточно сильно для того, чтобы идти дальше.

И в самом деле, по мере того как я всё дольше оставалась рядом с ним, я всё глубже погружалась в сон.

– Отдыха нет – или он есть только на этой дороге, – сказал мне ангел.

На миг я почувствовала, что превращаюсь в камень. Мне пришлось сделать огромное усилие, чтобы освободиться, – и тогда я проснулась.

– Не стоит думать, – продолжала она после недолгого молчания, – что рай сильно отличается от Земли. У других планет – другие небеса. Рай земной – это сама Земля, но Земля освобожденная. Ее размеры и протяженность бесконечны. То, что мы видим сейчас, – лишь смутный образ реальности. Расстояние, которое разделяет две вещи или двух существ, волей Бога может быть уменьшено или увеличено настолько, что они сольются до полной неразличимости или станут бесконечно далеки друг от друга. Никакая стихия больше не будет препятствием для праведных: они смогут ходить по воде, подниматься в воздух. В то время как плотность всего бесконечно уменьшится, однако не исчезнув совсем, но лишь сравнившись с плотностью эфира, – свет станет более ярким и проникнет собою все тела, которые смогут его излучать. Воздух станет более чистым и прозрачным, краски – бесчисленных цветов, которых окажется гораздо больше, чем сейчас оттенков одно-

го и того же цвета, чье многообразие – всего лишь обыгрывание одного-единственного образца. Материя, к которой мы привычны в этом мире, – всего лишь подобие истинной, которую мы познаем в Вечности. Наше солнце – лишь мимолетный зеркальный отблеск другого Солнца. Леса и моря, все животные, которых мы видим в этом мире, от рептилий до птиц, – лишь тени тех Лесов и Морей, и всех Животных от Рептилии до Птицы, населяющих Иной Мир, чьим блеклым подобием является наш. Понятие величины, которое применимо лишь к условиям существования «нашего скованного рода», там относительно: любые создания и даже природные ландшафты могут по своей воле как угодно изменяться в размерах. Там есть муравьи размером со слонов и львы размером с пчел. Сверхприродный человек больше ничем не будет ограничен, даже пределами Солнечной системы. Для него будет открыт доступ во все сферы, на все небеса. Что до Божественного Присутствия – оно будет единственной тайной для тех, кто не снискал благодати. Это станет для них новым смыслом в поисках Бога.

Но вдруг она резко замолчала, а затем, обращаясь уже напрямую ко мне, произнесла:

– Вот тропинка. Кто хочет последовать за мной? Iter facite ei qui ascendit super occasum. Мне тяжело следовать дальше – из-за того ангела, рядом с которым я так сильно задержалась вчера вечером, что стала засыпать. Желание идти во мне притупилось. Я чуть не превратилась в камень. Мы всегда должны остерегаться задержек в пути.

В этот момент она открыла глаза, взглянула прямо на меня и сказала:

– Ах, это вы, Другой. Я вас хорошо знаю. Это я, Джульетта из Вероны, но я всегда была набожна и теперь хочу стать святой – сестрой Беатриче. Полюбите его. Он ужасен. Это он сковал ваше сердце. Но не бойтесь ничего. Только не спите. Ад, Любовь, Ненависть, Земля, Небо… Это существо не такое, как другие; так же как вы и я. Но Он… Он пронесся сквозь все лимбы, как циклон. Кого ему удается захватить, он окутывает своими крыльями и уносит, оледеняет, сжигает. Он сделал меня бессмертной просто ради забавы. Теперь я больше не ем, не пью и не сплю. Только живу. Что такое жить? – Сгорать.

Однажды вечером я прогуливался по дорожке, откуда был виден монастырь францисканок. Взглянув на окно сестры Беатриче, я увидел, что в нем словно полыхает пожар. Я указал на него нескольким встречным, которые стали креститься и рассказывать мне, что с недавних пор прошел слух о поселившемся в монастыре чародее, и теперь каждую ночь окрестные жители наблюдают в монастыре странные феномены – порой оттуда доносится волшебная, неземная музыка, порой источаются таинственные ароматы, или вот, как сегодня, клубы дыма и языки пламени. Всё это очень беспокоит добрых местных жителей, «так что, – добавил один из моих собеседников, понизив голос, – они дали знать в полицию, и теперь ждут, что она арестует знатного иностранца, который с недавних пор проживает в Орвието».

В бездне, где она живет,
Не растет других цветов,
Кроме лишь ее двух рук,
Что разрастаются вокруг.

Я направился к монастырю. Сквозь ставни на окне сестры Беатриче по-прежнему виднелись яркие отсветы пламени, словно от разожженного внутри огромного костра.

Я позвонил. Мне открыла монахиня в ночном чепце. Я сообщил ей о предполагаемом пожаре.

Она ответила, что Липсе сегодня здесь, что он часто проводит ночи у сестры, беседуя с ней, и свет, который я видел, – это свет их ночной лампы.

Мой друг, узнав о моем визите, распорядился, чтобы меня тотчас же привели в келью сестры Беатриче, но едва лишь ее дверь закрылась у меня за спиной, я оказался один – ни Беатриче, ни Липсе рядом со мной не было – перед фантастическим пейзажем, хрупким и одновременно ужасающим, в котором скалы, деревья, небеса – всё было из стекла; почва же была усеяна стеклянными иглами, напоминающими скованную заморозками траву. Повсюду были разбросаны осколки битых бутылок и стеклянной посуды, которые до крови рассекали мне ноги, едва лишь я осмеливался сделать шаг. Я не мог ни сесть, ни лечь, но в то же время не мог и оставаться стоять на месте, испытывая страшную боль в пронзенных насквозь ступнях и одновременно чувствуя какую-то гнетущую пустоту, от которой у меня сдавливало виски. Нарастающий гул почти оглушил меня. Чуть наклонившись, я увидел, как кровь уходит из моего тела сквозь многочисленные тонкие порезы, нанесенные безжалостными стеклянными остриями; но

теперь они буквально пригвоздили меня к месту, прорастая сквозь кожу и разрывая плоть пальцев ног. В этот момент я заметил в стеклянной скале свое отражение – столь бледное, что я уже не мог думать ни о чем другом, кроме бегства. Но когда я обернулся, чтобы открыть дверь у себя за спиной, двери там не оказалось. Позади меня расстилался такой же гладкий, ровный, унылый пейзаж, что и впереди. Всё вокруг, насколько хватало глаз, было мрачным, оледеневшим, реальным и несуществующим, как смерть, застывшим в обманчиво сияющей, губительной прозрачности. Мои крики оставались без ответа; мое одиночество было абсолютным. Не в силах больше держаться на ногах, я упал. Мое тело насквозь пронзили стеклянные острия. Я потерял сознание, но в том небытии, куда я прибыл этой дорогой, меня бережно приняли чьи-то колени, и ласковый голос, отдававшийся в моих ушах столь звучно, как ни один голос на свете, произнес:

– Iter facite ei qui ascendit super occasum.

Когда я очнулся и открыл глаза, то увидел, что всё вокруг переменилось. Белоснежные собаки, чью шерсть белее лилий слегка трепали руки Липсе и Беатриче, зализывали мои раны, и по мере того как их языки скользили по кровавым рубцам, те сначала затягивались, а потом исчезали. Липсе сидел на обочине дороги, видом и облачением подобный ангелу. Земля была нежной, как ласка, и неподвижная улыбка моего друга меня успокоила. Я прижался головой к его сердцу. И тут же его руки превратились в огромный волшебный лес, где я увидел странных птиц и огненных хищников – львов и тигров, которые смотрели на меня с любовью и восхищением, словно я был мест-

ным божеством. Я позвал Липсе, и лес ответил мне его шепотом; каждый листок знал мое имя. Чуть позже я уснул в объятиях моря, а земной мир возвышался вокруг меня, словно гигантские столбы этого необъятного ложа. Две звезды сверкали ярче остальных, и Липсе склонялся надо мной, как само небо.

Внезапно я ощутил укол в области сердца, похожий на укус, и услышал шипение, отчего моя тревога вернулась вновь. Из всех уголков мира видимого и невидимого наружу выползали змеи – всех размеров, всех цветов, всех форм; некоторые сплетались друг с другом, и все двигались ко мне. Я был заточен в центре этой змеиной Вселенной – словно в сердцевине гигантского ядовитого цветка, который был уже готов сомкнуть вокруг меня шевелящиеся, похожие на копья с отравленными наконечниками лепестки.

Затем на колокольне часовни пробило полночь, и каждый звонкий удар, казалось, всё больше ослабляет парализующие меня отравленные путы. Мало-помалу я расправил застывшие конечности и обнаружил, что сижу у изголовья спящей Беатриче.

Я поискал Липсе, но не нашел.

На мой зов тут же явилась одна из монахинь, проводившая меня к выходу.

На следующий же день я покинул этот инфернальный город.

В поезде я первым делом извлек наружу свой блокнот. Мой взгляд упал на второй портрет Липсе, и я приписал рядом с ним: «Демон из Орвието».

Этот блокнот я с тех пор постоянно ношу с собой. Вот он. А вот портреты Липсе – один и другой.

Занимался день.

Кардинал подумал, что уставшая Наталина позволит ему уйти.

Подали кофе. Наталина потребовала принести больше свечей.

– Сегодня я никого не принимаю, – бросила она.

Когда слуги удалились, Наталина попросила Бриса изложить свое повествование на бумаге. Затем он продолжал рассказ.

IV

Поскольку после Орвието мне нужно было успокоиться, я выбрал самый святой и самый близкий ко мне город, где собирался провести пару дней, и отправился туда без плаща и багажа, взяв с собой лишь трость-шпагу, с которой никогда не расстаюсь. Так я чувствовал себя более свободным, более легким.

В поезде было необычайно многолюдно, и пока я старался догадаться о причине такого наплыва путешественников, один из них, очевидно, сочтя мою манеру держаться достаточно располагающей, в отличие от остальных пилигримов, приблизился ко мне и спросил: «Вы не знаете, в котором часу мы прибываем?» – «Незадолго до восьми», – ответил я. – «А номер у вас заказан?» – спросил он. Нескромность этого вопроса меня рассердила, и лишь вежливость, с которой он был задан, помешала мне повернуться к собеседнику спиной. «Нет», – ответил я. – «О, сударь, в таком случае вам придется спать под открытым небом! Завтра четвертое октября, день святого Франциска, и за последние три дня в Ассизи прибыло уже пять тысяч человек!» Тут я вспомнил, что не взял с собой даже плаща, как человек, твердо уверенный, что ближайшую ночь проведет под крышей, и что в

здешнем горном краю холодно почти всегда, но особенно в это время года. «На вашем месте, – посоветовал незнакомец, – я бы добрался до Фолиньо и провел ночь там. Завтра туда тоже съедется толпа народа. А утренний поезд доставит вас оттуда в Ассизи за полчаса».

Фолиньо! Это название отозвалось в моем сердце как песня, как сокровенное воспоминание, как память о любви. Прозвучавшее столь неожиданно, оно мгновенно заставило меня увидеть перед собой этот город как наяву, с его крепостными стенами и маленькими домиками. Удивленный и растроганный, я решил, что это счастливое предзнаменование, и без колебаний последовал совету попутчика.

Когда я прибыл, наступила ночь. Мой поезд ушел. «Ах, здесь завтра будет ярмарка, – сказали мне. – Вы не найдете ни одной свободной комнаты в Фолиньо, так же как в Ассизи». Я уже давно не спал и очень скверно себя чувствовал. Всё тело одеревенело. К тому же я страдал от начинающейся лихорадки – меня колотил жестокий озноб. Я опасался, что здешний холод станет чрезмерным испытанием, которое окончательно исчерпает мои силы, уже и без того бывшие на исходе, но мысль о том, что я в Фолиньо – я, Брис Обюссон, в Фолиньо – уставший, голодный, замерзший, без плаща и крыши над головой, – завораживала меня и наполняла мою душу радостью более сильной, чем страх здесь и умереть.

«Что же так влечет и удерживает меня в этом городе?» – наконец спросил я себя. И в тот же миг меня осенила догадка: святая Анжела и огненная рука, явившаяся ей однажды ночью и оставившая над дверью ее кельи чудесный неизгладимый отпечаток.

После довольно скудной трапезы, приправленной упавшим настроением, – был уже поздний час, – я решил пойти в какое-нибудь кафе и дождаться там рассвета. Я отыскал кафе и рассказал там о своих бедствиях, в ответ на что мне было сказано: «Зачем умирать, когда можно поступить иначе?» Затем позвали юного виночерпия, который, после долгих отговорок, всё же сказал мне: «Пойдемте, месье. Мы обойдем весь город, и чёрт меня побери, если мы не найдем для вас уголка на эту ночь». Я отправился вслед за подростком, который поочередно останавливался перед каждой дверью, звонил и спрашивал одно и то же: «Есть свободная комната?» Но всякий раз ему отвечали: «Ни одной».

Мы прошли из конца в конец всю главную улицу, очень длинную, и множество боковых улочек, но всё безрезультатно. Наконец мы оказались в каком-то темном тупике, похожем на воронку. Здесь мой провожатый уже не стал звонить, а вместо этого сложил руки рупором и позвал:

– Анжелика!

Тут же из ниши в стене появилась какая-то бесформенная фигура – и буквально рухнула к нашим ногам. Сначала я подумал, что это собака, скорее всего, пудель, – но нет, это оказалась женщина, у которой не было ног, и она передвигалась на руках, густо покрытых грязью.

Она посоветовала моему провожатому постучаться в дом в самом конце тупика. Отсюда можно было разглядеть его стены, почти сквозные – можно было подумать, что он только начал строиться или, напротив, почти развалился. В окнах не было ни стекол, ни рам, ни ставень, – за исключением

одного-единственного окошка справа на втором этаже, как бы висевшего в пустоте, из которого пробивался слабый свет.

Мой провожатый произнес еще какое-то женское имя – кажется, «Мария», – и освещенное окно открылось.

– Здесь никому не отказывают. – Мне послышалось, что именно эти слова произнесла хозяйка дома, и вот она уже стояла перед нами, словно спустившись с небес в ореоле дыма, которым окутывала ее лицо масляная лампа, раздуваемая ветром. И вот я, в свою очередь, следом за ней начал подниматься в темноте по голой каменной лестнице без перил, возле которой не было стен, отчего она тоже казалась повисшей в пустоте. Поднимаясь, я заметил какое-то шевеление на первом этаже, открытом, как двор – и, судя по всему, Двор Чудес: там копошилась огромная, бормочущая и повизгивающая людская масса, чей отвратительный запах, даже на расстоянии, действовал на меня удушающе. Хозяйка подтвердила мою догадку, сообщив пренебрежительным тоном, что в этом месте ночуют нищие.

Не доходя до второго этажа – конечной цели нашего восхождения, – лестница обрывалась, и мы вынуждены были перешагнуть бездну, чтобы попасть в деревянную галерею, которая весьма ненадежно крепилась к стене с помощью деревянных балок и веревок, похожая на ясли, висящие прямо в небесах. Решетчатая дверь отворилась в коридор, в конце которого виднелось множество людей – судя по виду, ярмарочных торговцев, акробатов, атлетов, – которые шли гуськом, неся по полной тарелке и стакану. Прежде чем скрыться в темноте, каждый из них оборачивался и смо-

трел на меня. Между тем меня провели через другую дверь в комнату, довольно просторную, где только что отобедали около трех десятков постояльцев. Им подавали улиток – множество раковин устилало деревянный пол. Хозяйка, очевидно смущенная выражением моего лица, собиралась подмести, но я запротестовал: «Паломники не привередничают!» Она указала мне не соломенный матрас, постеленный на деревянные козлы – это

и было мое ложе на сегодняшнюю ночь. Судя по всему, здесь недавно играли дети – на коврике в изголовье осталась лежать скрипка, в изножье стояла деревянная лошадка, повернувшись мордой к окну, будто готовилась взлететь, увлекая за собой кровать, как повозку, – подобно небесному коню из моих снов.

Я ощупал свое ложе, показавшееся мне жестковатым, – «Святая Анжела, молись за нас!» – но все же приемлемым. Прежде чем лечь, я расплатился – щедро, по своему обыкновению, даже не глядя, сколько даю, словно беспечный правитель, доверивший все денежные вопросы министрам, – но, видимо, достаточно, чтобы хозяйка через некоторое время вернулась с чистой белой простыней и подушкой в вышитой наволочке, к величайшему удовольствию для моей бедной больной головы. Вскоре, впрочем, за стеклянной дверью комнаты собрались все те, кого я видел выходящими из обеденного зала, как будто привлеченные каким-то неведомым мне самому запахом, который от меня исходил; некоторые даже приоткрывали дверь, кланялись, стоило мне пошевелить босой ногой, и желали доброй ночи постояльцу столь вежливому и добродушному, что он безропотно согласился переносить все неудобства ночлега в столь жалкой «гостинице».

Однако добрая хозяйка слишком засиделась в комнате. Может быть, она хотела сообщить мне что-то неприятное, но не решалась этого сделать? Подумав об этом, я спросил ее насчет света и воды. Она принесла два чистых кувшина с водой и с гордостью сообщила, что в доме есть электричество – но включать и выключать его нужно, орудуя двумя длинными спицами, специально для этого помещенными у двери. Это яснее всяких слов сказало мне о том, что если я решусь выключить свет, то уже никогда больше его не увижу, – и вот в этот самый момент она одним движением руки его погасила, а потом, с легким смущением указав мне на альков без занавесок напротив моей постели, в котором стояла вторая кровать, сказала: «Мне очень жаль, но вам придется разделить комнату с одним иностранцем». Такая новость меня удивила, но не слишком; более заинтригованный, чем напуганный, я даже с некоторым интересом ожидал появления этого человека, который, судя по краткому описанию, полученному мной, был либо актером, либо священником. Он должен был вернуться поздно, как мне было сказано, «после церемонии». Я лежал в постели, без сна, порой слегка приподнимая голову от беспокойства. Да и как заснуть, когда ждешь неизвестного соседа по комнате, к тому же в подобных обстоятельствах. Нищие у меня под окном пили и играли в орлянку, в карты и в кости при свете пропитанных маслом веревочных фитилей, которые они по мере сгорания раскручивали. Время от времени вспыхивали ссоры; порой завязывалась драка. Вдруг раздался крик: «Убийство!» – и вслед за этим послышались жалобные стоны. Прибыла полиция. Послышались резкие отрывистые при-

казы. Я поднялся и выглянул в окно; раненого несли на носилках, и при свете факела я на секунду успел различить длинный кровоточащий разрез у него на боку. И вдруг неподвижная доселе рана начала пульсировать, трепетать и хрипло свистеть, как раздуваемые кузнечные мехи – словно множество легких тяжело задышали одновременно; но вот раненый испустил последний вздох, и калеки, крестясь, боязливо отползли к стенам.

Полночь давно миновала (большие деревенские часы, висевшие на стене у моей кровати, отбивали удары, словно рубя время топором), и было, вероятно, около часа ночи, когда дверь в комнату отворилась и вошел человек. В темноте я мог различить лишь его руки и лоб. Пальцы, скрывающие огонек свечи, казались золотистыми. Отблески пламени падали на виски, но лицо и тело оставались невидимыми. Он направился прямиком к кровати, и поскольку пламя свечи теперь слабо освещало стену у него за спиной, я видел на ней его темный силуэт. Мой сосед оказался человеком молодым, подвижным и изящным. Казалось, он не замечает моего присутствия – по крайне мере, он вел себя так, словно был в комнате один, если только не притворялся из тайного кокетства, что ему нет до меня дела. Сняв лишь плащ и ботинки, он улегся на свою кровать, и в тот момент, когда он слегка наклонил голову, чтобы задуть свечу, я успел увидеть его лицо и одновременно – узнать его непромокаемый плащ, которым он укрылся как одеялом.

Меня охватила сильнейшая дрожь.

Я хотел произнести его имя, но у меня перехватило дыхание.

Сквозь открытое окно в комнату проникал свет луны, благодаря чему я мог смутно различать черты лица моего неподвижного компаньона, от которого я не отрывал глаз, неподвижный, как и он, застывший от изумления.

Набежавшее на луну облачко на какое-то время погрузило нас в полную темноту, и тогда руки этого человека начали светиться – как огненная рука, явившаяся святой Анжеле. Постепенно и все его тело стало излучать свет, всё более яркий, сквозь уже почти невидимую одежду, словно подожженная статуя.

Мне хотелось встать, преклонить колени, приблизиться к нему или, напротив, бежать – или хотя бы закричать, но я онемел от благоговейного ужаса и не мог стряхнуть оцепенения. Даже когда пламя охватило сначала простыни, на которых он лежал, потом всю кровать, стены, пол и потолок, я так и не смог пошевелиться, застыв как парализованный в состоянии, близком к мистическому экстазу. Все мои чувства и моя воля безмолвствовали. Только мои глаза и глаза моего сердца жили сейчас всей полнотой жизни, которой было лишено всё остальное мое существо, полностью отдавшее себя во власть божественной воли. Наконец пламя достигло и моего ложа. Раскаленные струны скрипки у меня в изголовье затрепетали, а деревянная лошадка в изножье, обратившись в коня Апокалипсиса, взвилась на дыбы, словно охваченная эйфорией этого вселенского пожара. После этого я уже ничего не видел – от дыма и жара я потерял сознание.

Очнулся я лишь на следующее утро. Я был в комнате один. Мой компаньон исчез.

Ведя меня обратной дорогой по хлипкой деревянной галерее и полуразрушенной лестнице без перил, хозяйка рассказала, что ровно год назад весь дом выгорел изнутри в результате сильнейшего пожара – за исключением комнаты, в которой я спал этой ночью. Она добавила, что это было настоящим божьим чудом, и перекрестилась.

V

На следующий год в завершение летнего отдыха я отправился с Эфорбом в Рим. Эфорб, все еще слишком юный, играл со своими кузенами *Н*. Это позволило мне полностью располагать собой. Я путешествовал один.

И вот однажды воскресным вечером, уже в сумерках, я сидел на террасе кафе напротив Собора святого Петра. Площадь была пуста; вокруг меня, насколько я мог судить, были только местные жители. Все то время, что остальные пили аперитивы, я пил чай, а когда они постепенно разошлись, заказал легкий ужин, как обычно. Какое-то время я оставался на террасе один. Затем появились двое новых посетителей – лысый молодой человек и его белокурая спутница. Они сели за столик на некотором расстоянии от меня и принялись украдкой за мной наблюдать. Я тоже посматривал на них. Наружность молодого человека была столь необычна, что я третий раз в своей жизни достал из кармана блокнот, собираясь зарисовать его лицо. Женщина выглядела еще более странно: закутанная в плащ, с густой вуалью, полностью скрывавшей лицо, она сидела неестественно прямо и неподвижно, будто медитирующий манекен.

Завершив набросок, я приписал на полях: Порчелло. Уже знакомый мне официант, который обслуживал меня несколько вечеров подряд, заглянул мне через плечо и, то и дело повторяя: «Порчелло, Порчелло!» – принялся с интересом сличать рисунок и оригинал. Когда он повернулся ко мне, на его лице читался восторг. Стало быть, я создал шедевр? Но пока я с удовлетворением разглядывал портрет, попросив официанта принести мне соль, – мой натурщик внезапно провел рукой по лицу, и, словно в один миг стянув резиновую маску и незаметно спрятав ее в рукав, явил совсем другое лицо, слишком хорошо мне знакомое. Ошибиться я не мог: передо мной был мой проводник по саду Джусти, неизменно элегантный: небрежно наброшенный потрепанный плащ скрывал под собой парадный костюм, точно так же как личину Порчелло. Оцепенев от изумления, я машинально перевел взгляд на женщину и увидел, что она распростерлась на полу, бездыханная и неподвижная, будто сраженная ударом молнии. Я узнал и ее – это была Джульетта из Вероны и одновременно – Беатриче из Орвието. Но куда же подевался этот Порчелло, то есть Липсе? Несомненно, сбежал, чтобы свалить на меня вину в убийстве! И вот я остался в одиночестве сидеть на террасе кафе рядом с трупом. Зачем Липсе понадобилась эта драма? Ни минуты не колеблясь, я позвал официанта, попросил счет и небрежно добавил: «Порчелло вышел купить сигарет». Затем дал этому новообретенному поклоннику моего таланта щедрые чаевые и попросил о выдуманной услуге, ради которой ему нужно было уйти с террасы внутрь кафе. Как только он скрылся из вида, я, в свою очередь, сбежал. Я шел быстрым шагом

примерно с четверть часа, поминутно ожидая, что полиция арестует меня по обвинению в убийстве. Вечный Город я знал довольно плохо, и, поскольку инстинктивно старался понадежнее укрыться, направился к колоннаде Бернини, а затем углубился в предместья. К счастью, мне попался попутный автомобиль, который довез меня до Пьяцца ди Спанья. Оттуда было уже недалеко до моего отеля. Добравшись до него, я заперся у себя в номере. У меня началась лихорадка, и следующие три недели я провел, не вставая с постели. Отец Эфорба проделал долгий путь, чтобы увидеться со мной – он думал, что я при смерти. Затем его кузены *Н.* отвезли меня на одну из своих вилл на юге, где я вынужден был провести месяц в одиночестве и полном покое.

Разумеется, я никому не рассказал об этом своем приключении. Я лишь просмотрел все газеты за последние три недели, надеясь отыскать в них что-нибудь о преступлении, свидетелем которого я стал. Но все мои поиски были тщетны. То ли случившееся вечером 8 июля 19… года в Риме на Площади святого Петра произошло только для меня, то ли по каким-то причинам расследование столь загадочного убийства было приказано держать в тайне.

Вскоре, однако, я получил письмо в запечатанном конверте, написанное Беатриче, судя по дате, за день до убийства.

Теперь вы не осмелитесь больше появиться ни в Вероне, ни в Орвието, ни в Риме. *Он* хочет закрыть для вас всю землю.

Но когда вы окажетесь у Святых Врат, чтобы склонить голову на колени Христианства, и сияющие фигуры апостолов и пророков, что по ночам озаряют землю с небосвода, соберутся вокруг вашего красного нимба, кардинал Обюссон, – тогда все звезды и все вещи окажутся на своих местах; и вы – на своем.

Бог любит вас.

Беатриче

VI

После отдыха я вернулся в Вену, где тогда жил, и вот однажды зимним вечером, около девяти, когда я читал у камина, мне принесли визитную карточку Липсе Дулье, который спрашивал, могу ли я его принять. Я велел позвать мажордома и отдал ему тайный приказ – оставаться в прихожей, никуда оттуда не уходить и при малейшем шуме появиться в комнате.

Липсе вошел, неторопливо и почти торжественно, в своем вечном непромокаемом плаще, и с улыбкой взглянул на меня:

– Вы меня помните?

– Превосходно, – отвечал я, но чувствовал, что мои глаза красноречивее всяких слов говорят совсем иное: «Разве можно вас забыть?»

– Я не слишком вас пугаю?

– Меня не пугаете ни вы, ни кто-либо другой.

– Вы думаете, я менее опасен для вас, чем вы для меня?

– Я люблю опасность.

– Вы хотите сказать, что любите неосторожность?

– Я – сама Отвага, – прошептал я.

И его лоб озарился все тем же странным, идущим изнутри светом, который пробуждал во всем его облике доселе скрытую невероятную красоту.

– Я – сама Опасность, – прошептал он.

В его словах звучала нежность и тайная страсть, которые невероятно взволновали меня – казалось, именно сейчас наступил самый серьезный, самый торжественный момент в моей жизни.

После долгого молчания он произнес:

– Я принес вам подарок.

– Какой?

– Тело вашей жертвы.

– Какой жертвы?

– Джульетты.

– Джульетты?

– Сестры Беатриче.

– Сестры Беатриче?

– Которую вы убили на Площади святого Петра в Риме, в девять часов вечера.

– Я?

– Да, пока я ходил за сигаретами… Если вы откажетесь принять мой дар, я сдам вас полиции.

В этот момент со двора донесся какой-то шум. Я подошел к окну. Четверо мужчин выгружали из автомобиля ящик, более длинный и узкий, чем обычный гроб.

После минутного колебания я распорядился, чтобы сюда принесли этот… я чуть не сказал «гроб», но вместо этого произнес «столб».

Уже давно я не испытывал подобного любопытства.

Липсе вынул из кармана три ключа, каждый из которых был пронумерован, открыл по очереди три замка и приподнял крышку.

– Сюда никто не войдет? – спросил он.

Я запер дверь на задвижку.

– Не погасите ли вы свет?

Я выключил весь свет, оставив лишь слабую ночную лампу на другом конце комнаты.

Он начал снимать одну за другой множество вуалей, покрывающих тело, с каждым разом все более тонких и великолепных.

Я склонился над ним и заглянул внутрь.

Мертвая Джульетта была прекрасна. Ее тело благоухало ароматическими смолами, лицо казалось маской из слоновой кости и золота, светящейся изнутри.

Ничто не могло бы сильнее взволновать и потрясти меня. С благоговейным восхищением я созерцал ее – словно саму Смерть.

Я повернулся к Липсе, взял его руки в свои и принялся целовать их, а затем – точно так же покрывать поцелуями руки мертвой Джульетты.

– Спасибо, мой таинственный друг! – воскликнул я. – Что за прекрасную спутницу вы мне даровали!

Липсе привлек меня к себе и прошептал:

– Ты мой. Ты – я сам. Ты – мой друг. Ты никогда больше не будешь один, и никто никогда больше не будет одинок. У нас будет еще несколько встреч, но после мы никогда уже не увидимся. Однако я никогда больше не покину дома, в котором ты живешь, где бы он ни был; твои сны, твоя душа – это моя душа и мои сны.

Разгляди меня хорошенько, чтобы потом всегда узнавать.

Время от времени я буду являться тебе.

И я отведу тебя так далеко, что даже ты по-настоящему изумишься.

Он приблизил лампу к своему лицу, затем к моему – и я ощутил почти физическую боль от его жестокой и нежной улыбки. Взглянув ему в глаза, я невольно воскликнул:

– Хрусталик!

Липсе прижал палец к моим губам.

– Прощай, – прошептал он.

Я был не в силах ответить.

Немой, оцепеневший, с залитым слезами лицом, я смотрел, как он медленно закрывает гроб и уходит. Я понимал, что не могу его удержать, и он по пути к дверям ни разу не обернулся, словно уже был один.

Присутствие возле меня этого драгоценного гроба, подобно смертельному искушению, не давало мне заснуть.

Время от времени я поднимался, чтобы его открыть. Я смотрел на губы и веки усопшей, касался ее рук. Расстояние, отделявшее меня от этого волшебного миража, становилось невыносимым. Сотню раз я едва удерживался от того, чтобы преодолеть его, лечь в гроб рядом с телом и обнять это едва ощутимое воспоминание, чей слишком сильный аромат проникал даже сквозь дерево и одурманивал меня.

Я решил отвезти его в безопасное место и на следующий же день уехал, бросив своего ученика и всех остальных.

Воспоминание о Липсе Дулье ничуть не ослабевало. Я бы осквернил тело Джульетты, если бы был уверен, что таким путем достигну Липсе, заставлю его появиться, увижу его снова.

Но я не хотел увидеть его разгневанным.

Однажды ночью я в последний раз открыл гроб. Свет, который прежде излучало лицо покойной, померк. Но мне показалось, что я умру от ужаса в

тот момент, когда до меня донесся едва слышный молитвенный шепот, словно проникающий через все преграды монастыря аннунциаток, самого закрытого ордена:

– Iter facite ei qui ascendit super occasum.

VII

В Париже я часто получал от Липсе письма, которые больше походили на приказы.

В какой-то момент мне показалось, что он особенно заинтересовался Пиа, но потом я стал склоняться к тому, что он хочет добраться через нее до кого-то другого. Сначала он потребовал от меня возможности ее увидеть, и, поскольку я все еще находился под неодолимым воздействием его чар, то появлялся вместе с ней в том или ином месте, которое он мне указывал. Я полагаю, что и нас с вами свел тоже он.

– Каким образом?

– Это ведь Раванн открыл вам мое убежище?

– Да.

– Так вот, я полагаю, что Раванн встречался с Липсе в Италии.

– Какие странные вещи вы говорите.

– Всё это и в самом деле странно.

– Теперь я бы охотно поверила, что это он был тем самым человеком, который бросился с мачты моей яхты в море.

– Можете в этом не сомневаться.

– Не он ли склонил Эфорба к самоубийству?

– Как знать. Но из-за чего?

– Из ревности, – прошептала Наталина.
– К вам?
– Нет-нет, – живо запротестовала она.
– К Пиа?
– Да нет же! К вам, Брис!

С некоторых пор Пиа и Наталина сблизились.

Отныне Пиа также всё знала.

Кардинал часто присоединялся к ним, но Липсе больше не появлялся.

Всех троих объединяла общая жгучая тайна. Между собой они всегда говорили вполголоса. Все трое почти не ели и не спали.

Можно было подумать, что за ними постоянно наблюдает кто-то невидимый, чье присутствие проявляется как бессознательный бред, незаметно окутывающий все их мысли, чувства, слова, жесты – словно едва слышный, но постоянный ровный гул.

С наступлением лета Пиа уехала из Парижа в Ланды. И вот однажды вечером, когда она прогуливалась одна в сосновой рощице, отделявшей ее дом от моря, она увидела красивого белого пса, который то и дело вставал на задние лапы с растерянным и обеспокоенным видом. Она погладила его, и он побежал следом за ней. Доведя ее до дома, он улегся на ступеньках у двери. Пиа, видя, что приближается ночь, не решилась его прогнать, впустила в дом и щедро накормила.

Еще через час, когда она уже спала, в дверь позвонили. Поскольку Пиа была в доме одна вместе с Отоном и двумя служанками, она решила не открывать. Но тут пес залаял. Пиа приоткрыла окно.

– Мадам, – донесся голос из темноты, – мне показалось, что я слышу лай моего пса. Если вы его приютили, я очень вам признателен, но, будьте любезны, верните его мне.

– Не могли бы вы зайти за ним завтра? – спросила Пиа. – Он хорошо поужинал, и у него есть крыша над головой на эту ночь. Уже поздно, все в доме спят. Мне бы не хотелось никого беспокоить.

Она слегка перегнулась через подоконник и увидела стоящего на лестнице у двери человека, одетого в непромокаемый плащ. Его лицо, казалось, светится в темноте.

– Хорошо, я зайду завтра, – сказал он.

Он вернулся на следующий день после полудня, на этот раз без плаща. Пиа не узнала в нем человека из бара.

Однако в тот момент, когда он слегка повернул голову, выходя из гостиной, его взгляд упал на висевший на стене портрет Бриса Обюссона, и очертания его профиля, казалось, вспыхнули, словно молния, пересекающая ночное небо. Тогда Пиа заметила странную особенность его взгляда и вспомнила, что говорил Брис о глазах Липсе Дулье, лишенных хрусталика.

Пиа была убеждена, что Липсе любит именно ее.

Впрочем, ей не вполне удавалось отделить его от Кардинала, который и без того уже был для нее словно бы един в двух лицах – Бриса-Тарквиния и Бриса Обюссона. Иногда ей случалось, думая о Липсе, видеть перед собой лицо Кардинала или наоборот. Она любила того, кем Липсе хотел стать посредством Кардинала, или Кардинал посред-

ством Липсе – то есть некоего «Метаморфа». Оба они были ей одинаково дороги, и связывающая их тайна лишь еще больше соединяла их в ее воображении, не отделяя от нее самой ни того, ни другого.

Однажды вечером, когда она гуляла в сосновой роще, Липсе появился снова. Она ему улыбнулась. Липсе приблизился. Пиа невольно вздрогнула. Они обменялись вежливыми фразами. Пиа согласилась, чтобы Липсе проводил ее домой.

В обращении с ней он являл самое искреннее чистосердечие и простой нрав. Он описал ей свой сад в Провансе, который называл «Месопотамией» из-за двух пересекавших его ручьев, где заросли роз и винограда окаймляли круглую лужайку с огромной яблоней.

Пиа подумала, что это идеальное описание места, о котором она всю жизнь втайне мечтала.

– Но ведь это райский сад! – воскликнула она, и тут Липсе, неожиданно оборвав разговор на полуслове, удалился. Он словно заранее знал, что не пройдет и пяти минут в разговоре с ним, как она произнесет имя Бриса, и что оно прозвучит буквально в следующей фразе.

Больше он не появлялся.

VIII

В том же месяце Наталина однажды вечером совершала прогулку по каналам Венеции в гондоле с Бариэлем и д'Эристалем; день выдался скучным, и она провела его в самой темной комнате своего дворца. Катрин д'О, в одиночестве сидевшая на веслах, и оба молодых человека, казалось, спали. Гондола была уже на самой середине Большого канала, на равном расстоянии от Санта-Мария-делла-Салюте и церкви Джезу.

Море было пустынно, как вдруг Наталина заметила далеко на горизонте черную точку. Не обращая на нее особого внимания, она рассеянно разглядывала набережные Венеции и наблюдала, как постепенно тускнеет золотой купол Святого Марка. Когда почти совсем стемнело, она отвернулась, и в этот момент смутно различила очертания гондолы, которой управляли двое детей в белых одеждах. Между ними сидел мужчина. Наталина не придала бы особого значения этой встрече, если бы он не был закутан в непромокаемый плащ, о котором она так часто слышала, – и сейчас это воспоминание сразу всплыло у нее в памяти.

Гондола приближалась, следуя в противоположном направлении, и когда они поравнялись,

Наталина оказалась лицом к лицу с незнакомым пассажиром.

В тот момент, когда их взгляды встретились, она ощутила столь необычайное волнение, что ей показалось, будто она вот-вот упадет в обморок. Она узнала, ни минуты в этом не сомневаясь, человека, которого видела у себя дома в объятиях Кардинала в вечер смерти Эфорба.

Своим спутникам она ничего не сказала.

Таинственная гондола, постепенно уменьшаясь, скользила по направлению к Лидо.

Наталина была уверена, что Липсе обязательно придет. Своим друзьям она сообщила, что плохо себя чувствует и в ближайшее время остается дома. Неподвижно вытянувшись на кровати, она пыталась мысленно отстраниться от всего, думая о том, что ее жизнь либо кончена, либо только начинается, что по требованию Липсе она согласится полностью изменить свою судьбу. В ожидании она сжигала груды старых писем.

Что привлекало ее в близящихся событиях – это, прежде всего, Опасность.

Кем был этот человек? Опасностью.

«А кто я сама? – спрашивала себя Наталина. – Гриф. Белый Гриф».

Идеальный союз.

Она представляла его окровавленным, страдающим, но была уверена, что он откроет ей нечто о ней самой, доселе ей неизвестное, и о загадке мироздания. Ей казалось, что речь идет не только о любви между ними, – или, скорее, что впервые в ее жизни речь идет только о Любви.

Однако наступила ночь, и Липсе не пришел; Наталина встревожилась. Значит, это не его она видела? Она слишком много думала об «этом человеке». Она стала жертвой иллюзии.

– Оказывается, я визионерка! – прошептала она, чувствуя презрение к себе.

Наконец она вышла на прогулку вместе с Бариэлем, надеясь встретить Липсе на углу какой-нибудь улицы. Она взяла себе в обычай каждую неделю смотреть на «кошку патриарха», которая проводила всю свою жизнь у подножия трона святого Марка; на сей раз она также направлялась туда. Пока Бариэль разглядывал мозаики и делал пометки в блокноте, Наталина отошла в сторону, чтобы побыть в одиночестве. Она с удивлением поняла, что впервые с детства пытается молиться – столь необычайное смятение поселилось в ее душе после той встречи на морской прогулке.

Но тут ей показалось, что, проходя мимо церкви, она мельком увидела в правом нефе, на расстоянии, которое не смогла бы точно определить, некое место, которое таинственным образом влекло ее к себе. В нем ощущалось присутствие мистического, магнетического, сверхъестественного Существа, чье притяжение словно бы распространялось только на нее. В следующий момент она ощутила давление на затылок, не слишком сильное, но повелительное, как это бывает порой с теми, кто подвергся гипнозу, и одновременно увидела на своих руках отблески таинственного, непонятно откуда падающего света, благодаря которому ее тень появилась среди барельефов, образовав темный провал в золотом блеске апсиды. Наталина подумала, что не сможет долго противостоять искушению обернуться, хотя, воз-

можно, в тот же самый момент от нее останется лишь это изображение, тень на стене, а сама она растворится и исчезнет во всепоглощающем сиянии этого таинственного света, видимого лишь ей одной. Повинуется ли она? Неужели, впервые в жизни, она не сможет устоять? Она сопротивлялась, и все же чуть повернула голову. Для человеческого существа это означало дойти до самых пределов бесстрастия и безразличия. Она будто знала, что – устоит или нет – она все равно погибла. Но еще больший, глубокий и личный страх ей внушала мысль о том, что она может оказаться жертвой иллюзии – она, крайне здравомыслящая, не приемлющая ни в каких формах ни спиритизма, ни прочей чертовщины. Она отказывалась повиноваться. Она была уверена, что даже малейшее допущение возможности подобных явлений с ее стороны будет означать, что она отдает свое существование, свою душу и тело, а вместе с ними и пропуск в реальный мир – своему видению, одновременно закрывая для самой себя путь в Незримое. Сможет ли она в один миг отказаться от своего права, от своей власти и близко не допускать никакой «мистики»? Однако, стоило ей напомнить себе, что речь шла о Липсе, ее сердце смягчилось. Разве она могла противостоять тому «бесконечному любопытству», которое разжег в ней Кардинал? Наталина резко обернулась. Бариэль по-прежнему изучал фигуры на фресках, а на том месте, откуда, по ее ощущению, за ней тайно наблюдали, она увидела стоящего человека. Его византийские черты лица и кисти рук – единственное, что она могла различить, – были столь чисты, столь резки и в то же время утонченны, особенно на фоне убогого одеяния бродяги, что

он казался одним из библейских пророков, явившимся из темноты под сводами церкви и идущим по расписанным фантастическими узорами плитам внутреннего двора. Наталина постаралась не обнаружить своих чувств в присутствии Бариэля, но, когда она проходила мимо «этого человека», ее захлестнула невыразимая нежность; ей хотелось заговорить с ним, приблизиться к нему, но вместо этого она лишь еще больше замкнулась в себе, чувствуя инстинктивное почтение к разделяющему их пространству – как если бы боялась рассеять облако или потревожить тень. Даже издалека она не осмелилась взглянуть ему в лицо и посмотрела только на руки. Вся ее прошлая жизнь в этот момент показалась ей бессмысленной, беспредметной – но теперь она верила, что раскрыла тайну, которая поможет спасти будущее. Сделав над собой усилие, она все же устремила взгляд к его лицу. И тут же замерла – неподвижная, растерянная, уже не понимающая, где она: ликующая радость, неистовый восторг отделили ее от всего остального мира. Ей показалось, что и церковь, и весь город исчезли; затем исчез и восхитительный Лик – остались лишь глаза, наполненные светом, и, впивая этот неугасимый свет, она открывала для себя новый мир. Она поняла, что тоже преобразится, если у нее хватит на это сил.

– Хрусталик! Хрусталик!

Наталина больше не спала. Она похудела, стала вялой и расслабленной. Ее друзья забеспокоились. Они настаивали, чтобы она уехала из Венеции, но она категорически отказывалась. Настоящим счастьем для нее было каждый вечер прогуливаться

пешком и без сопровождающих по набережным каналов – в английском костюме простого покроя, накрашенной так сильно, что становилась замаскированной, неузнаваемой. Иногда она углублялась в самые темные и безлюдные кварталы, доходя до публичных садов на краю города; и оттого, что она постоянно надеялась встретить то единственное существо, которое было целью ее неутомимых поисков, ее возбуждение, ее пристальное внимание не ослабевали ни на миг, а глаза блестели так сильно, что случайные прохожие впадали в заблуждение по поводу ее намерений и нее самой.

Наталину это забавляло – она говорила себе, что это большая честь для нее: будучи влюбленной, сойти за проститутку.

С тех пор как она впервые услышала о Липсе, ею овладело страстное желание самоумалиться, отказаться от былых представлений обо всём, и даже о самой себе.

Наконец однажды вечером, когда она проходила под портиком папского дворца, чтобы выйти на площадь, – Наталина столкнулась с «Ним» почти лицом к лицу, но он прошел мимо. Он ее не узнал? Она направилась за ним. На набережной он сел в пассажирский катер, идущий в сторону Лидо; она тоже. Когда он вышел и направился в какую-то сумрачную аллею, она последовала за ним. Вскоре они достигли леса, и Наталина углубилась туда. Если бы он решил двигаться дальше по морю, темневшему на горизонте, она пошла бы за ним по воде; она твердо решила умереть – или узнать. Где-то вдалеке бушевала гроза; тучи громоздились, словно груды льняной пакли, освещенные всполохами начинающегося пожара; атмосфера была насыщена электричеством и пропитана удушливой влажностью.

В лесу, однако, было так темно, что Наталина потеряла из вида объект своего преследования. Она опустилась на холмик и долго просидела в ожидании, чтобы доказать, что не страшится никого и ничего, кроме одной вещи – потерять Липсе безвозвратно. Что бы он ни замыслил, как бы ни вздумал ее искушать – она его не боялась; с его стороны она опасалась лишь одного – отсутствия, со своей – готова была принять что угодно, от самого простого до самого странного, лишь бы это было связано с ним. Наконец она сумела добраться до морской набережной. Небольшой прогулочный катер словно ждал ее; она без колебаний пересекла мостки и прошла на нижнюю палубу, где, кроме нее, не было ни одного пассажира. Воды можно было коснуться рукой. Когда катер уже готовился отчалить, появился еще один человек. Наталина молча смотрела, как он приближается и садится слева от нее. Катер закачался на волнах. Наталина почувствовала, как рука соседа сжимает ее руку. Она склонила голову на плечо Липсе – это действительно был он; они не обменялись ни словом.

Когда катер остановился, Наталина поднялась первой и пошла по проходу между сиденьями, не оборачиваясь, лишь стараясь идти медленнее, потому что была уверена: стоит ей обернуться, как он исчезнет. В любом случае, она не сможет ни удержать его, ни обрести вновь – но какое ей до этого дело? Отныне она никогда больше не будет одинока. Теперь в ее жизни всегда будет соучаствовать «некто» – может быть, некто Незримый? – будет соучаствовать Липсе. Наконец она снова прижалась головой к плечу этого сверхъестественного существа, и увидела, как ее рука, еще хранящая память о руке Липсе, слабо светится в темноте.

Наталина пыталась запомнить, что происходило в ней, когда она приблизилась к этому странному существу; это выглядело так, словно бы она наблюдала за преображением всего окружающего мира: ей предстали все бесчисленные возможности и невозможности, существующие в природе, – этой новой, воистину вселенской щедрости позавидовал бы сам Творец.

Однажды вечером Наталина снова отправилась на поиски Липсе, и вскоре заметила пришвартованную лодку, в которой стоял один-единственный гребец, одетый в бежевый непромокаемый плащ. Она тут же его узнала.

– Лодка свободна? – спросила она.

Гребец кивнул. Наталина, не сказав больше ни слова, спустилась в лодку и предоставила ему выбрать курс по своей воле.

Долгое время они двигались вдоль каналов в полном молчании.

– Позволите ли вы отвезти вас дальше? – спросил гребец.

Наталина ответила, что просит его об этом.

Они вышли в открытое море. Ночь была темной. Белые стены соборов скрылись из вида.

– Еще дальше? – спросил он.

Она кивнула.

На темной морской глади здесь и там переливались жемчужные отблески, а порой отражались огоньки кладбищенских свечей, мерцающих среди кипарисов.

– А что если я прикажу вам умереть? – спросил он.

– Смерть – это то, чего я не знаю, – ответила она. – Мне всегда было интересно непознанное.

– Еще дальше? – спросил Липсе.

Берег полностью растворился во тьме. Небо закрыли тучи. Только глаза Липсе источали свет, озаряющий его лицо и руки.

Наталина больше не различала ни моря, ни звезд, не слышала ни малейшего всплеска воды, не ощущала ни дуновения ветерка. Всё вокруг погрузилось в совершенное оцепенение. Она подумала, что даже если поднесет руки к самым
160 глазам, то всё равно их не увидит. Она больше не была уверена в том, что существует – словно бы в один миг перестала видеть и воспринимать что бы то ни было, кроме лица и рук Липсе.

Она по-прежнему сидела напротив него, но в какой-то момент в отчаянном порыве подалась к нему.

– Поскольку вы есть, – произнесла она, – смерти нет.

Тогда он отложил весла, и лодка медленно повернулась вокруг своей оси. Липсе чуть надавил на правое весло – только чтобы лодка остановилась, лишь слегка покачиваясь на волнах. Наталина бесшумно скользнула в темноте и склонила голову на правую руку своего спутника, который, сбросив плащ, оказался почти обнаженным.

Он бросился в воду, увлекая ее за собой. Чем сильнее он прижимал ее к себе, тем явственнее она ощущала странно гибкие и удлиненные формы его тела, наводившие на мысль о флоре и фауне иного мира. Приоткрывая глаза, она видела над собой это внимательное, сосредоточенное лицо, разрушающее всё остальное, – лицо Пустоты или Абсолюта. Их сердца бились рядом друг с другом. Море служило брачным ложем. Неизведанные доселе гордость и радость переполняли всё ее существо.

Но мало-помалу ее платье всё больше тяжелело от воды, и наконец воротник с такой силой стал давить на горло, что она потеряла сознание.

Когда она очнулась на незнакомом морском берегу, ее окружали какие-то сицилийцы, сообщившие, что получили приказ – в этот же вечер доставить ее в Венецию.

Недалеко от берега виднелась мрачная пещера у подножия горы. Наталина спросила, что это. Сицилийцы ответили, что, по легенде, это вход в преисподнюю.

Наталина не выносила ничьего присутствия рядом с собой – не из опасения, что оно способно отвлечь ее мысли от Липсе, но что оно может помешать появлению его самого.

Однажды ночью она услышала, как кто-то постучал в окно. Наталина вздрогнула, заметив человека, цепляющегося за перила балкона, но тотчас же отперла задвижку, узнав Липсе.

Она была неимоверно счастлива, что новая встреча происходит в столь романтичной манере.

– Липсе, – прошептала она, – это вы?

Не видя в том особой необходимости, она все же помогла ему преодолеть последний этап этого неправдоподобного восхождения.

Он поцеловал кончики ее пальцев и без каких-либо других проявлений нежности протянул ей лист бумаги.

– Подпишите, Наталина, – сказал он. – Но сначала прочитайте.

Собственное имя в его устах прозвучало для нее музыкой сфер. Она подписала, не читая.

– Наталина, знаете ли вы, что именно вы сейчас сделали? Согласились отдать мне все свои блага, земные и вечные.

Наталина не шелохнулась. Даже ее ресницы не дрогнули. Она ответила:

– Да будет так.

Липсе, разорвав бумагу в клочья, бросил ее в огонь

– Наталина, это не всё, чего я хочу от вас. Если кратко: нужно убить Фарамонда.

– Хорошо, мы убьем его вместе, – безмятежно ответила она.

– Нет.

– Тогда я прикажу моим слугам убить его.

– Нет, так тоже не годится, – ответил Липсе. – Вы должны убить его сами, вот этой маленькой белой рукой.

– Хорошо. Я убью его. Когда?

– Ровно через три месяца. Ни днем раньше, ни днем позже. В два часа ночи второго декабря.

– Он умрет.

– Вы не любите меня, – сказал Липсе. – и я вас не люблю. «Они» настолько обесценили, низвергли это слово – которое само есть низвержение в бездну. Повторяйте за мной: «Существует великая тайна между Наталиной Кроннфилд и Липсе Дулье».

Наталина повторяла эти слова, вкладывая в них всю свою нежность и всю свою жестокость.

После этого Липсе взял ее за руку и попросил проводить его до окна. Он ушел той же дорогой, что и приходил.

IX

В начале октября Наталина, Брис и Пиа встретились вновь.

Кардинал, по его словам, не встречал Липсе со дня смерти Эфорба.

Впрочем, никто не знал, где он провел летние месяцы. Он никому об этом не рассказывал.

Наталина вкратце рассказала о встрече с Липсе в Венеции. Пиа, напротив, с преувеличенной важностью поведала о загадочном визите, который он нанес ей в Ландах. Понадобилось совсем немного времени. чтобы установить, что даты встреч совпадают. Если Липсе мог одновременно находиться в Венеции и в Либурне – то кто же он такой? К тому же Пиа делала вид, что еще что-то скрывает, – это крайне раздражало Наталину и вызывало улыбку Кардинала.

Часто Брис просил обеих приехать вечером, а потом они вместе отправлялись в ночные заведения, где когда-либо раньше появлялся Липсе.

Но они так ни разу его и не встретили.

Брис стал личным секретарем и, фактически, правой рукой Фарамонда, который возложил на него решение самых важных дел. Теперь он постоянно ночевал в доме Фарамонда.

С какого-то момента Пиа стала замечать, что Фарамонд встречается с Наталиной.

Она сказала об этом Кардиналу.

– Может быть, Фарамонд ее любит? – отвечал тот. – Что до Наталины – я точно это знаю, – она слишком сильно его превосходит, чтобы его любить. Если она приблизила его к себе, если она его терпит – значит, он ей нужен для исполнения каких-то своих замыслов. Так или иначе, забавно будет понаблюдать за ними.

Весь вечер первого декабря Пиа и Брис провели вместе. Они вернулись домой до полуночи, но расстались очень поздно. Кардинал, по своему обыкновению, ушел в спальню Фарамонда, которая перешла в его владение, а Пиа – к себе. Теперь оба находились по разные стороны волшебного гобеленового леса, который с некоторых пор стал обителью Фарамонда, и оба одновременно услышали, как Фарамонд отпирает ключом входную дверь. В этот вечер Пиа заметила, что Брис нервничал и явно был чем-то обеспокоен, но сочла это отражением ее собственного состояния души.

Когда пробило два часа ночи, Фарамонд погасил свет. Кардинал встал с постели и двинулся по коридору в сторону гостиной, сжимая в руке небольшой револьвер; но, сделав всего несколько шагов, он ощутил чье-то близкое присутствие в темноте и отпрянул. Дверь в волшебный лес, где спал Фарамонд, легко открывалась от малейше-

го нажима. Сейчас она подалась с едва слышным щелчком, и почти точно такой же щелчок, словно в ответ, донесся изнутри. При свете горящего у изголовья ночника Брис увидел Пиа, которая вошла в гостиную прямо перед ним, через дверь напротив той, которой хотел воспользоваться он сам, с таким же, как у него, маленьким револьвером в руке, под густой вуалью.

Фарамонд спал. Наталина, полуобнаженная, стояла на коленях возле него, занеся над ним кинжал.

Все трое застыли, изумленные каждый появлением двух других с теми же намерениями, что и его собственные, – как если бы их оружие внезапно и одновременно пришло в негодность.

Так что же, никто не нанесет удар? Все трое откажутся от своего замысла?

Один лишь Фарамонд был безмятежен, словно ему передалось умиротворение окружавшего его искусственного леса.

Тогда Наталина склонилась над спящим и в тот же момент испустила ужасный крик.

Фарамонд оледенел и больше не дышал.

Брис включил свет.

Пиа сделала шаг вперед, и Наталина снова закричала, как безумная.

– Кто из вас двоих помешал мне исполнить мое обещание? – воскликнула она.

Распахнув рубашку на груди Фарамонда, они увидели крохотное круглое отверстие возле самого сердца. Грудь была пронзена навылет, словно жалом гигантской пчелы.

Но ведь никто из них троих не выстрелил!

И тут Пиа слабым жестом указала на брошенный поперек стола непромокаемый плащ Липсе.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Рене Кревель

ТРУДНАЯ СМЕРТЬ

В 1925 году на вопрос сюрреалистической анкеты о самоубийстве Рене Кревель ответил «Это, возможно, самый верный и совершенный выход». Пьер Дюмон, герой его знаменитого романа «Трудная смерть» (1927), тоже не находит другого выхода. Он страстно влюблен в американского композитора Артура Браггла, а тот делает вид, что Пьер ему наскучил.

Хьюберт Селби

БЕС

Гарри Уайт надеется разбогатеть, сделать карьеру, жить с очаровательной женой и милыми детьми в большом доме. Всё это ему удается, но темная сила не позволяет Гарри насладиться достигнутым. Благополучный менеджер одержим запретными желаниями: он жаждет совокупляться, воровать, убивать!

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Гертруда Стайн

ИДА

10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал отречение от престола ради того, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Известие об этом стало мировой сенсацией. История британского короля и его возлюбленной привлекла внимание Гертруды Стайн. Она решила написать роман «Ида», героиней которого стала бы Уоллис Симпсон. Но постепенно замысел книги менялся. Ида все меньше походила на герцогиню Виндзорскую. Она путешествовала по Америке, перебираясь из одного штата в другой, заводила собак, встречала разнообразных мужчин, порой выходила замуж и наконец обрела Эндрю, своего короля.

Эрве Гибер

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

«Цитомегаловирус» был опубликован в январе 1992 года, всего через несколько недель после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства. „Слова побеждают все!“, – говорил писатель. Его дневник это подтверждает.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

Я И МОЙ ЛАКЕЙ

Очень странные ощущения, когда открываешь посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз.

Герард Реве

БОГ ОЧЕНЬ ОДИНОК

Запах одежды Мальчика; магия игры света на его волосах; шелест моря; непроходимый лес, в котором живет Беспощадный Мальчик – один, с ним только его брат, чуть старше него; этот набожный лесоруб не подозревает о безмерной моей страсти. Нет нигде утешения. Ветер в верхушках деревьев поет: «Прошло… Прошло… навсегда…» И я больше никогда не смогу выйти из Леса, поскольку хлебные крошки, которые я рассыпал за собой, все до единой расклеваны птичками.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?

Эрве Гибер

МОИ РОДИТЕЛИ

Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли, что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гибера? Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд, двух лошадей и невесту? К какому шантажу прибегают родители маленького Эрве, дабы заполучить семейные реликвии? И где спрятано золото, которое то закапывают, то выкапывают, не в силах расстаться с ним? – Для родителей нет ничего страшнее неудержимой тяги сына к поискам истины.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ПОРОК

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая для себя видения и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная и написанная в конце 70-х годов, была опубликована незадолго до смерти писателя.

Эрве Гибер

ПРИЧУДЫ АРТУРА

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ГАНГСТЕРЫ

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».

Эрве Гибер

СМЕРТЬ НАПОКАЗ

Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, ест, сосет, входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет, исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах. Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских отношениях с письмом, – посредством его – вскрывать, препарировать собственно тело и препарировать самое письмо.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Катрин Колом

ДУХИ ЗЕМЛИ

Древние волны потихоньку разрушают стены замков, деревья плетут заговор, лесные существа, боящиеся света, обступают деревню плотным кольцом, ядовитые пауки бегут с берегов озера на террасы, черви заползают в желудки, и дети-призраки, играющие на зеленых трубах, вот-вот найдут звук, точный, вражеский, от которого дома и церкви рассыпятся до основания.

Джордж Сильвестр Вирек

ДОМ ВАМПИРА

Первый американский декадент Джордж Сильвестр Вирек (1884–1962) впервые приходит к русскому читателю с романом «Дом вампира» (1907). В книгу включены записи разговоров Вирека с Адольфом Гитлером, Зигмундом Фрейдом, Магнусом Хиршфельдом, материалы о его отношениях с лордом Альфредом Дугласом и Алистером Кроули.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Гертруда Стайн

АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю моей жизни». Стайн подробно рассказывает о своей юности, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует трансформация собственной личности, случившаяся после выхода «Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцатилетнее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» Стайн заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сейчас – сегодня».

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Герард Реве

ПО ДОРОГЕ К КОНЦУ

Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд. На так называемом «Ослином процессе» Реве защищался сам, написав блестящую речь, и все обвинения с него были сняты. Две книги, впервые публикующиеся в русском переводе, сыграли в жизни Герарда Реве решающую роль и стали подлинным событием литературы XX столетия.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Александр Ильянен

БУТИК VANITY

Светящееся здание «Бутика Vanity» теперь открыто для посещения. Пустующие этажи романа-с-ключом и романа-без-вранья, нового романа и петербургской повести Александр Ильянен заполняет прозой высокой концентрации, прекрасной ясности, хирургической точности – и давно забытого образца. Чтобы оценить возможности этой эфирной скорописи, не нужны навыки дешифровщика: так мог бы писать какой-нибудь пушкин-007 – обезьяна, тигр и француз в одном прозрачном флаконе. Книга удостоена премии Андрея Белого за 2007 год.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Эдвард Морган Форстер

ФАРОС И ФАРИЛЛОН

Британский писатель Эдвард Морган Форстер (1879–1970) был одним из создателей «александрийского мифа» XX века. Его усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, луком и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось ничего от города Александра, Клеопатры и Антиноя, превратился в одну из важных тем европейской литературы. Форстер разглядел в скучной улице Розетт, безуспешно пытающейся подражать парижским бульварам, Канопскую дорогу города Александра Великого, а в обитателях городского дна – персонажей александрийской поэзии.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Хуан Гойтисоло

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Образ репья, растоптанного сапогами российских солдат, сначала отправленных воевать в Чечню царем, потом Ельциным, потом Путиным – часто возникает в моей повести, я пишу об абсурдности и нескончаемости варварства. Зверства побеждают прогресс, в этом смысле в обществе немногое меняется, а жестокости гражданской войны в Испании повторяются во всех войнах. Возможно, нас следует назвать бесчеловечной расой?

Джеймс Парди

Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью чернокожего юношу следить за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако ветреный Илайджа любит только одно существо – своего немого правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого американского прозаика.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo», ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1

в Санкт-Петербурге:
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через *Интернет:*
«Ozon» ozon.ru
«Лабиринт» labirint.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

в *Украине:*
«Либра» librabook.com.ua